

Эли Берте

Шофферы, или Оржерская шайка



Эли Берте

Шофферы, или Оржерская шайка

«Public Domain»

1857

Берте Э.

Шофферы, или Оржерская шайка / Э. Берте — «Public Domain», 1857

«По пыльной дороге, в нескольких лье от Ножена ле-Ротру, ехал какой-то всадник. Солнце палило эту лесистую и горную часть Перша, которая разнообразием своей растительности представляла разительную противоположность соседним, хотя и плодоносным, но обнаженным в то время равнинами Боссе...»

Содержание

Часть первая	5
I. Шофферы	5
II. Першеронская ферма	11
III. Родственники и родственницы	17
IV. Брейльский замок	24
V. Признание	32
VI. Греле	38
VII. Тяжелая ночь	47
VIII. Ле Руж д'Оно	57
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Эли Берте

Шофферы, или Оржерская шайка

Часть первая

I. Шофферы

1

По пыльной дороге, в нескольких лье от Ножена ле-Ротру, ехал какой-то всадник. Солнце палило эту лесистую и горную часть Перша, которая разнообразием своей растительности представляла разительную противоположность соседним, хотя и плодоносным, но обнаженным в то время равнинами Боссе.

Растительность была в полном своем весеннем блеске; леса, которыми впоследствии воспользовался Наполеон, отзываясь о них как о самых великолепных рощах Европы, красовались сейчас роскошнейшей зеленью; высокая трава полей, готовая уже к покосу, скрывала в густоте своей прозрачные и живительные воды, поддерживавшие ее свежесть; а зеленеющие нивы, едва налившимися колосьями, волновались тихо от дуновения своенравного ветерка.

Несмотря на кажущееся благосостояние страны, в ней царила какая-то мертвенность: обильная жатва не возбуждала радости поселян, и они как бы машинально исполняли свои полевые работы. Благословенная земля их, казалось, была под гнетом горя.

И точно, шел 1793 год. Редко где можно было достать хлеба, да и то по дорогой цене; междоусобицы и война с иностранцами опустошали селения; металлические деньги стали исчезать, а вместо них ходили ассигнации. Но что всего ужаснее действовало на людей, так это зловещие слухи, которые, подобно смертоносным ветрам, проносились по селениям и держали их в постоянном страхе. Дорога, худо содержимая, не представляла, конечно, того оживленного вида, какой имела в былое время. Прямодушные першерские жители превратились вдруг в недоверчивых и угрюмых людей. А потому ехавший всадник редко встречал поселян, да и те поглядывали на него испуганными глазами. А иные и совсем отворачивались, делая вид, что не замечают его. Некоторые же из них, более смелые, а, может быть, и более робкие, приветствовали его братским поклоном, на который всадник наш спешил ответить тем же. Дальнейшее же сближение, какое обыкновенно бывает между людьми, едущими по одной дороге, казалось между ними немыслимым, потому что поселяне с видимым беспокойством торопились свернуть на одну из тех прелестных ферм, какими так изобилывала описываемая нами страна.

Между тем внешний вид всадника был очень и очень привлекательным. Только костюм его, по мнению местных людей, внушал какой-то страх. Шляпа его была с выгнутыми полями и национальной кокардой, а длинные и выющиеся волосы падали на широкий галстук, сделанный из нескольких аршин кисеи. Корманьолка (модная одежда в начале революции) и панталоны его были сшиты из белой нанки с синими и красными полосками; несколько трехцветных платков, носящих в то время название «национальных», служили ему поясом, а мускулистые ноги были обуты в мягкие, но без шпор, сапоги.

Этот костюм, обозначавший тогда ярого патриота, был главной причиной того недружелюбного приема, который оказывали путнику першские поселяне, недаром прослывшие за приверженцев старого порядка вещей (или старого закала).

¹ Так называлась шайка разбойников, отличающаяся тем, что она пытала свои жертвы огнем.

Но, как мы уже сказали выше, внешность самого всадника не внушала к себе ни малейшего недоверия. Это был человек лет двадцати пяти, крепкого и красивого сложения, с привлекательной наружностью и приятными манерами. Его голубые глаза, приветливая безыскусственная улыбка дышали добросердечием. Но посторонний наблюдатель, при взгляде на это благородное и правильное лицо, был бы невольно поражен той застенчивостью, которая так сильно противоречила его санкюлотскому костюму. Поэтому-то, может быть, и не следовало делать заключения о незнакомце по его только наружному виду.

Всадник постоянно понукал свою лошадь, как бы желая поскорее добраться до места, и наемная кляча, подстрекаемая необычным образом, тяжело стучала своими копытами по пустынному шоссе. Вдруг она свернула с дороги и начала вертеться и фыркать от страха. Молодой человек, будучи плохим наездником, насилу справился с ней; но заставить лошадь идти далее он положительно был не в силах, так упорно она держалась на одном месте, поэтому он принялся отыскивать глазами причину ее сопротивления.

На окраине дороги, возле одной из тех лесенок, которые простонародьем зовутся «спусками», и по которым пешеходы перебираются через заборы, не допуская, однако, скотину, пасущуюся в парке, ходить по ним, лежал ничком человек без признаков жизни. Он-то именно и испугал лошадь и заставил ее топтаться на месте. Путник, полагая, что человек этот уснул на дороге, громко окликнул его, но, не получив ответа, слез с лошади и приблизился к нему. Лежавший в пыли был из тех разносчиков, которые ходят по деревням с разным мелким товаром. Деревянный короб, в котором находился его товар, стоял разбитым возле него. На человеке были куртка и жилет из синего беррийского сукна, такие же штаны и белые шерстяные чулки. Шляпа его с высокими полями и длинным ворсом и суковатая тросточка лежали на некотором расстоянии.

Молодой человек в корманьолке потормошил слегка разносчика, снова окликнул, но столь же безуспешно. Затем он повернул его лицом к себе, чтобы хорошенько рассмотреть лицо, обрамленное черными волосами, подстриженными в кружок. Лицо это носило печать мужественной красоты, и хотя оно было темным от загара, в нем проглядывал человек лет тридцати пяти, необыкновенно сильный. В данную минуту лицо это имело зверское, угрожающее выражение, но это выражение было вызвано, вероятно, глубокой раной, пересекавшей лоб незнакомца, откуда на дорогу брызнула черная кровь. Путешественник принял его за мертвого, но, движимый чувством человеколюбия, он решился удостовериться, не оставалась ли еще искра жизни в этом неподвижном существе. Наконец ему удалось остановить течение крови носовым платком, затем он перевязал им Рану незнакомца и стал растирать ему ладони. Конечно, небольшое количество свежей воды помогло бы скорее в этом случае, но ее не оказалось под рукой. Усилия всадника оживить разносчика оказались бесполезными, бедняга не подавал ни малейшего признака жизни. Тогда, в полной уверенности, что тот умер, всадник поднялся на ноги и стал размышлять о том, что предпринять в подобном случае. Вдруг он увидел на земле маленький портфель, выпавший, вероятно, из кармана разносчика. Желая получить какие-либо сведения о погибшем, он поднял портфель и открыл его. Между прочими ничтожными бумагами он заметил в нем три паспорта, выданных различными ведомствами трем личностям разного наименования, хотя они все трое занимались одним и тем же ремеслом, – были бродячими торговцами. Всего же поразительнее было то, что приметы описываемых в паспорте личностей совпадали совершенно с приметам умершего разносчика, так что он, смотря по обстоятельствам, мог бы произвольно присваивать себе одно из трех имен. Это дало повод путешественнику сделать вывод, что он имел дело с изгнанником, который таким образом спасал свою голову. Снова принялся он осматривать его еще с большим вниманием, но, увы! – напрасно он отыскивал в личности и одежде таинственного разносчика какую-нибудь примету, которая могла бы обличить в нем возвратившегося на родину эмигранта или прибитого горем какого-нибудь аристократа. Не нашлось на нем даже ни единой ценной безде-

лушки; белье было из самого грубого холста, а крепкие, загорелые выше локтя руки, покрытые мозолями, свидетельствовали ясно, что профессия этого господина не подлежала ни малейшему сомнению: это был в самом деле один из тех разносчиков, которые в бесчисленном множестве встречались тогда во всех провинциях бывшего французского королевства.

Занимаясь осмотром бумаг, путешественник наш вдруг заметил, что неподвижное до тех пор тело разносчика слегка зашевелилось. Ободренный этим, путешественник наш принялся снова и еще с большим усердием растирать незнакомца и наконец, к величайшему своему удовольствию, увидел, что труды его увенчались успехом. Движения раненого становились более и более заметны, и краска выступила наконец на загорелом его лице. Тогда услужливый путешественник оставил его в покое и предоставил природе окончить дело. В скором времени разносчик как-то судорожно вздрогнул, невнятно произнес какое-то проклятие и начал приподниматься, опираясь на руку. Другой же рукой, одновременно он сделал угрожающий жест невидимому врагу.

Но усилия эти до того, вероятно, ослабили силы раненого, что он снова повалился на землю и остался недвижим. По прошествии нескольких минут он опять приподнялся и начал дико озираться вокруг.

– Ну что, гражданин, – спросил его молодой человек, в корманьолку, – лучше ли вы себя одетый теперь чувствуете?

На этот вопрос не последовало никакого ответа. Казалось, что незнакомый, хотя и ласковый, голос спрашивающего внушал разносчику скорее чувство страха, чем признательности: он устремил озлобленный взор свой на говорившего, как бы сомневаясь еще в добром его намерении и не сознавая оказанные им услуги.

– Ну, голубчик, – продолжал молодой человек, – приободритесь немного!.. Ваша рана, по-моему, вовсе не так опасна; все-таки позвольте довести себя до ближайшего селения: там удобнее будет перевязать вам рану.

И на эти слова не отозвался разносчик, хотя, по-видимому, он мог бы ответить если не словом, то, по крайней мере, каким-нибудь жестом. Все внимание его было обращено теперь на кожаный портфель, который держал молодой человек.

Путешественник догадался, в чем дело, и немедленно вручил ему этот портфель. Разносчик поспешно схватил его и спрятал к себе в карман. Чтобы окончательно успокоить того, молодой человек подобрал разбросанные по дороге короб, палку и шляпу и подал их раненому. Тот мигом надел шляпу на голову, схватил в руки палку и вдруг как будто успокоился. Но продолжавшееся затем молчание вывело, наконец, молодого человека из терпения, и он сказал:

– Черт возьми, гражданин, вы оглохли, что ли, или язык у вас совсем отнялся? Кажется, вы можете объяснить мне теперь, кто довел вас до того состояния, в котором я вас застал? Знаете ли вы злоумышленников? Куда, в какую сторону они скрылись? Да не бойтесь же меня, я ведь здешний мировой судья, а потому обязан осведомляться о преступлениях, какие совершаются в моем околотке.

На этот раз разносчик не мог уже скрывать своего недоверия к молодому господину и, сделав усилие над собой, ответил, отворачиваясь от него:

– Да кто же вам говорит, гражданин, что здесь кроется преступление? Я просто-напросто совершенно случайно свалился сюда.

– Случайно? Но этого не может быть.

– Да отчего же не может быть, это более чем вероятно, – возразил разносчик, и голос его, по мере возвращения сил, все более и более переходил в смягчающийся и уверенный тон.

– Я вот был на той ферме с товаром своим. Возвращаясь оттуда, я хотел было сократить путь, чтобы скорее добраться до большой дороги, и пустился по луговой тропинке. Перелезая последнюю изгородь, я оступился – груз перетянул меня и я, свалившись, сильно ударился головой об острые камни. Этот удар ошеломил меня; но теперь, слава Богу, я чувствую себя

лучше: я ведь крепкого сложения, уверяю вас, и легко переношу всякую боль. – Поднявшись с усилием, он принялся чинить свой короб, а молодой человек, осмотрев окружающую местность опытным глазом, убедился в вероятности рассказа разносчика, а потому и сказал ему:

– Тем лучше, что в этом происшествии не кроется никакого преступления, потому что в настоящее время закон бессилен что-либо сделать. Однако что же вы намерены теперь предпринять? Я полагаю, что вы не в состоянии будете продолжать свой путь с вашей ношей.

– Ну, уж об этом не беспокойтесь, – прервал его купец с худо скрываемой досадой, – со мною не такие еще вещи случались. Будь при мне хоть несколько капель водки, и помину бы не осталось от того, что случилось... Благодарю вас, гражданин, за ваши обо мне заботы, займитесь-ка теперь своим делом, а я примусь за свое. Поклон вам от меня и братство. – Надев затем короб на плечо и опираясь на свою палку он пустился было в дорогу, но силы изменили ему: сделав несколько шагов, он побледнел и зашатался. Остановясь поневоле, он сбросил с себя короб, уселся на него и произнес страшное проклятие.

Путешественник с сожалением посмотрел на него.

– Нет, – проговорил он, – я решительно не в состоянии оставить вас в таком положении, это было бы верх бесчеловечности с моей стороны, а потому, хотя мне и очень недосуг, я все-таки не могу взять на совесть подобного греха. Послушайте меня, дружище, я отправляюсь теперь в Брейль – местечко в полумиле отсюда; садитесь на мою лошадь, и мы вместе приедем к добрейшим людям, которые окажут нам всевозможную помощь.

Разносчик живо поднял свою голову.

– Как, – проговорил он, – вы беретесь доставить меня в бывший Брейльский замок и выпросить позволение переночевать в нем?

– Нет, нет, – прервал его молодой господин с некоторым замешательством, – в замок вас не впустят, и мы проедем с вами на ферму к Бернарду. По обычаю той местности он зовется Брейльским человеком. Вам перевяжут у него рану, устроят постель на сеновале и дадут на ужин кусок ветчины и стакан квасу, если только вы в состоянии будете есть.

Разносчик все еще колебался: природная недоверчивость не позволила ему сразу согласиться на подобное предложение. Он попробовал сделать еще несколько шагов, но попытка вторично не удалась ему...

– Ну уж, делать нечего, – сказал он с прискорбием, обращаясь к своему благодетелю. – Будь по-вашему, поедemте...

С трудом он влез на седло; короб кое-как привязали сзади; молодой господин взял лошадь под уздцы, во избежание какого-нибудь толчка, и таким образом путешественники отправились в дорогу.

Оба молчали сначала. Дорога по-прежнему была безлюдна: два или три пешехода едва виднелись вдали по всему протяжению пыльного шоссе, по сторонам которого посажены были тополя в два ряда.

Разносчик ожил от мерно-спокойного шага лошади и стал как-то странно поглядывать на своего вожатого; вдруг мрачная улыбка отразилась на его устах, как бы в ответ на заднюю мысль, которая только что промелькнула у него в голове.

Молодой человек и не заметил ее, он был при своих мыслях и, по всей вероятности, углубился в раздумье. Вдруг как, бы очнувшись, он обратился к разносчику и рассеянно спросил его:

– А как вас зовут, гражданин?

Тот не торопился отвечать на прямые вопросы.

– А вы как судья спрашиваете меня об этом? – ответил он ему лукаво.

– В настоящую минуту я не судья, а если бы и был облечен в знак этой должности, то неужели же вы решились бы скрыть от меня что-нибудь?

– Да и скрывать-то мне нечего, – возразил торговец. – Стоит взглянуть на меня, так всякий догадается, что я не кто иной, как мелкий странствующий торгаш. Зовут меня Франциско, в чем удостовериться можно из моего паспорта.

На эти слова молодой господин улыбнулся и возразил:

– О да, я знаю, что у вас их и не один.

Разносчик вздрогнул и ухватился сильнее за свою палку.

– Так вы смотрели в мой портфель! – закричал он ему грозно. Затем, переменяя тон, прибавил с прежним радушием: – Надобно сказать вам, гражданин, что мы торгуем втроем; на днях я виделся с товарищами в трактире, они позабыли там свои паспорта, а я захватил их с собою, чтобы передать им при первой встрече. Вот почему...

– Это очень может быть, – перебил его мировой судья, – но мне показалось, что приметы... впрочем, я мог ошибиться. Однако, гражданин, у вас есть же какая-нибудь оседлость?

– Да какая же может быть у меня оседлость? Ведь я двух дней не остаюсь на одном и том же месте. Ночую на фермах, если позволят, а не то в трактире; впрочем, дороги они для нас, бедняков.

– Но имеется же у вас какое-нибудь любимое пристанище, родина, что ли, или местечко, где проживает ваша семья?

– У меня нет семьи, гражданин; детство свое я провел в деревне, около города Мана; теперь не осталось там ни одной живой души, которая помнила бы о моем существовании, а потому я не имею основания предпочитать мою родину другим селениям.

– Жаль, дружище, что вам некого любить и что вы никем не любимы. А разве вы не женаты?

– Женат, – отвечал Франциско.

– А где же проживает ваша жена?

– Она торгует, как и я. Кой-когда мы встречаемся с ней. Но скажите, пожалуйста, гражданин, – прибавил разносчик, нахмурясь, – отчего это вы интересуетесь моими делами? Конечно, вы оказали мне услугу, но ведь это еще не дает вам права расспрашивать у меня всю подноготную.

Мировой судья пожал плечами.

– Еще раз повторяю вам, – сказал он разносчику, – я расспрашиваю вас не в качестве судьи, а единственно из участия и любопытства. Если же этот разговор для вас неприятен, прекратим его, тем более что мы подъезжаем уже к Брейлю.

В самом деле, прекрасная аллея пересекала в этом месте дорогу, а в конце ее показались довольно большие строения. Путешественники наши направили свой путь к тому месту. Когда они въехали в тенистую и уединенную аллею, то увидели женщину в лохмотьях, которая держалась того же направления. Она тащила за руку пяти- или шестилетнего ребенка.

Женщина была на вид еще очень молода; кроткое и покорное лицо говорило в ее пользу, но лицо ее было страшно искажено оспой, а усталость, нужда и горе окончательно состарили ее; ребенок был тоже худощав и болезнен, но под лохмотьями видно было, что содержится он в чистоте: все внимание матери, казалось, было сосредоточено на нем одном.

Заслыша подъезжающих путешественников она посторонилась, чтобы дать им дорогу; когда же разглядела их поближе в лицо, то ужас и удивление обнаружили в ее глазах.

Опустив голову, она проговорила плаксивым голосом:

– Подайте милостыню, Христа ради!

Мировой судья подал ей монетку. Бедная женщина пустилась за ними настолько скорыми шагами, насколько позволяли силы ее ребенка. Молодой человек перестал уже думать о ней. Вид брейльских зданий пробудил в нем уснувшие на несколько минут воспоминания, и он шел в раздумье с озабоченным лицом.

Франциско, напротив, смутился при виде отставшей женщины и, наконец, сказал своему спутнику:

– Извините, пожалуйста, гражданин, от непривычки ездить верхом ноги у меня отекли... Я хочу слезть с лошади и пройтись немножко.

– Как вам угодно, Франциско.

Разносчик свободно слез на землю, видно было, что он несколько уже оправился. Пропустив товарища вперед, он с намерением отстал от него и тем дал возможность нищенке догнать себя.

Дрожь пробежала по телу бедной женщины, когда она заметила это. Однако она не остановилась, а только старалась унять и успокоить плачущего ребенка. Франциско развязно подошел к ней и спросил:

– Кажется, тебя зовут Греле. Ты ведь встречалась со мной на ночлегах в долине.

– Это правда, – отвечала нищенка с удивлением.

– Так ты из наших?

– Да.

– Я хочу, чтобы ты здесь переночевала.

Нищенка невнятным голосом обещала исполнить приказание. Франциско пристально посмотрел на нее.

– Я не могу никак припомнить твоего лица, – сказал он ей, – но я буду наблюдать за тобой. Ведь ты знаешь меня? Берегись же.

Вслед за этим он догнал своего спутника, который и не заметил происходившего разговора.

Помертвевшая нищенка осталась на месте.

II. Першеронская ферма

Опередим наших путешественников и поговорим о Брейльской ферме.

Ферма эта, составлявшая главную запашку замка, находившегося в четверти мили от нее, стояла одиноко, как и большая часть усадебных запашек в Перше. Кроме большой аллеи, проходившей в нескольких шагах от нее, к ней не подходило никаких дорог, а лишь тропинки, перерезанные на каждом шагу заборами; впрочем, в описываемую нами эпоху в этой глуши то были обыкновенные и единственные пути сообщения.

Постройки фермы состояли, по обыкновению, из нескольких некрасивых строений, между которыми легко можно было угадать по их своеобразным формам конюшню, курятник, сушильню и сеновал. Большая часть из этих построек, крытых соломой, была в запущенном виде, между тем, судя по деятельности, царившей на ферме, и по числу скотины в хлевах и конюшнях, фермера следовало причислить к тем честным труженикам, которых достаток, даже изобилие на старости вознаграждают за трудолюбивую и экономно проведенную жизнь.

В этот день фермер Бернارد, или как его звали в околотке, Брейльский хозяин, кончал уборку сена и давал в чистой комнате своего дома, собственно, называемой «залой», обед поденщикам, помогавшим его работникам. Сквозь растворенную дверь со двора можно было видеть большую компанию сидевших за столом, уставленным ячменным хлебом, салом, разными сырами и маленькими кружками с водкой.

Между пирующими легко было узнать тотчас же личность самого хозяина, одетого в штаны, жилет и куртку серого сукна, произведения своих овец и сработанного своими же работницами, также как и холщовая рубашка. На голове у него был красный шерстяной колпак того же изделия, так что, за исключением носового платка, фермер имел полное право похвастаться, что своим туалетом он не одолжается посторонним фабрикам; после этой главной личности шли постоянные работники фермы, одетые почти так же, как и сам хозяин, потом поденщики, уходившие вслед за этим обедом. На толстых холщовых кафтанах их еще виднелись кое-где клоки душистого сена, только что ими убранного, за каждым из них стояло по паре деревянных башмаков, подбитых гвоздями, и по котомке, подвешенной к палке, заключающей в себе весь багаж их. Все эти люди ели и пили с большим аппетитом, и среди них царствовало совершенное равенство и чистосердечная веселость.

Домашние женщины были тоже тут, но, по обычаю страны, они не имели права садиться за стол, сама фермерша, или хозяйка, тут же суежилась, прислуживая своим работникам. Как на Востоке, першские женщины обязаны были до такой степени признавать над собой превосходство мужского пола, что замужние или нет, они не могли есть иначе как стоя и после мужчин. Привычки эти были так освящены стариною, что ни одной из женщин, вероятно, никогда на ум не приходило вознегодовать на унижительность подобного обычая.

Фермерша Бернارد, казалось, давно свыклась с этим законом и деятельно разделяла хлопоты своих двух работниц. Худая, бледная – доброе лицо ее говорило о каком-то затаенном горе – одетая так же, как и ее муж, она носила, по обычаю першских женщин, эти казакины, сохранившиеся еще с царствования Франциска I. Впрочем, ничто в ее наружности не отличало ее от прислуги, только головная повязка была у нее почище, да на груди висел маленький золотой крестик, несмотря на всю представлявшуюся в те времена опасность оставлять на виду этот знак религии.

Со связкой ключей в руках она постоянно ходила из погреба в сушильню, из сушильни в молочную, предупреждая желания своих гостей. Муж ее, маленький человечек с красным лицом и рыжими волосами, казался страшно вспыльчивым, обращение его с женой было до того грубо, даже жестоко, что всякая другая на месте госпожи Бернارد дошла бы до отчаяния, она же хлопотала, по-видимому, об одном только, чтобы удовлетворить мужа.

Впрочем, деспотизм тут был, казалось, более наружным, чем действительным, потому что, как только его чересчур дерзкий крик выводил из себя госпожу Бернард и она обращала на него свой добрый, грустный взгляд, в свою очередь он смолкал и даже в смущении отворачивался.

Благодаря частым возлияниям разговор между мужчинами дошел до шумного веселья.

У поденщиков про подобные случаи всегда есть в запасе веселые двусмысленные песенки, наивные рассказы, постоянно очень утешающие компанию; так было и на этот раз. У одного из присутствующих был, казалось, нескончаемый репертуар, шутки и скандальные анекдоты возбуждали всеобщий хохот, даже в кругу девушек, бывших тут, так как в этой стране вольность выражений не имела никогда дурных влияний на нравственность.

Между тем, когда оратор завел анекдот, прибавляя рассказ свой циничными прибаутками об убежавшей от родителей девочке с одним военным, фермерше, равнодушной до сих пор к их грубым шуткам, сделалось почти дурно и даже сам Бернард, разделявший с нею это впечатление, прервал рассказчика.

– Ну тебя, кривой! – грубо проговорил он, – чего ты тут распелся с этими пустяками? Давай говорить о чем-нибудь другом, ведь начнешь пересчитывать все бабы глупости, так хоть говори день и ночь, так и то станет сказок на тысячу лет.

Хотя не совсем-то вежлива была эта выходка в отношении госпожи Бернард, она, однако, осталась ею чрезвычайно довольна и вскользь брошенным взглядом поблагодарила мужа.

– Постойте-ка, – начал снова Брейльский хозяин, обращаясь к присутствующим, – не знаете ли вы, ведь вам, я думаю, много приходится слышать новостей, шатаясь то тут, то там, не наделали еще каких новых бед эти разбойники из долин?

– Вы о каких разбойниках говорите, господин Бернард? – опять шутливо спросил кривой. – У нас есть, во-первых, шуаны, разоряющие селения мужичков в Бокаже, не очень далеко отсюда, потом есть мошенники, опустошающие замки бывших аристократов; кого же из двух вы достаиваете названием разбойников?

Говоривший это был мальчик лет восемнадцати, слабый, тщедушный, единственный глаз которого светился злобно и лукаво. Одет он был в толстый парусинник, на шее кое-как болтался пестрый национальный платок, от вопроса его фермер нахмурился.

– Тсс! Борн де Жуи, – проговорил наконец Бернард сурово, – или мы поссоримся! Я не мешаюсь в политику и не желаю приобретать себе врагов ни из шуанов, ни из санкюлотов; я стою за мир и согласие, воля милосердного Бога, чтоб всем было полно места под солнцем. Ты не хитри, приятель, ты хорошо знаешь, что тут дело идет не о роялистах, не о республиканцах, а я говорю о той шайке мошенников, что нападают огромными массами на отдаленные фермы и селения и жгут ноги своим жертвам, чтобы выпытать у них, где спрятаны деньги; не совершили ли они еще чего-нибудь нового? Я хочу спросить, с тех пор как ограбили ферму Поле и убили владетеля Готридского замка, что там к Орлеану?

Борн де Жуи пожал плечами.

– Послушайте-ка, хозяин, – возразил он, – как это вы, умный человек, верите таким сказкам? Этих шофферов, как их называют, никто нигде не видал и, несмотря на ваше отвращение к политике, я все-таки скажу, что как между шуанами, так и между санкюлотами найдутся молодцы, способные на фарсы, приписываемые шофферам.

– И ты называешь это фарсами, – вскричал фермер. – Господи милосердный, ужасы, бесчеловечие... Но, – спохватился старик, тревожно поглядывая во все стороны, – чтоб моих слов не разнесли бы направо и налево, ведь не знаешь порой, кто тебя слушает... Конечно, я уверен, что здесь между нами нет негодяев, да и длинный язык никогда до добра не доведет.

Присутствующие, казалось, разделяли опасения хозяина, только один Борн де Жуи опять повернул все в шутку.

– А – а – а, хозяин! – снова начал он, хихикая. – Да вы, кажется, не на шутку побаиваетесь, черт возьми! Я побьюсь об заклад, что вот в этом шкафчике, так плотно у вас запертом (и он вперил свой единственный глаз в стоящий против него шкаф) найдется порядком экю, а пожалуй, так и луидорчиков, которые вы там квасите! Когда вы поселились три или четыре года тому назад в Брейле, так и тогда говорили про вас, что у вас славная кубышка, а ведь из нее с тех пор, конечно, не поубавилось, потому что сторона-то ведь здесь хорошая.

– Молчи ты! – перебил его хозяин. – И куда ты все суешь свой нос!

Но подумав, что подобная таинственность с его стороны может быть истолкована против него, прибавил, вздохнув, и уже мягче:

– Правда, было время, когда, действительно, у меня нашлось бы порядком экю благодаря моей работе и работе моего отца, но это время прошло! Переселясь, сюда я был полностью разорен, происшествие одно... до которого вам никому, конечно, дела нет, вынудило меня поспешно оставить страну, где я жил, а потому мне пришлось продать за бесценок и скотину, и хлеб, сверх того заплатить большую сумму неустойки по контракту, и таким манером у меня в один день ушло все, что было припасено. С тех пор поднявшаяся арендная цена, плохие урожаи и дороговизна работы мешают мне и по сие время поправиться. Правда, я никому не должен, не заставляю работников ждать уплаты, но во всей стране не найдется фермера беднее меня.

Не оставляя еды, гости, однако, спешили заявить свое сочувствие хозяину; только один Борн де Жуи тихо насвистывал песенку, не скрывал своего недоверия ко всему сказанному, но Бернард не заметил этого; вызванные тяжелые и грустные воспоминания, видимо, одолели его и, нахмурия лоб и опустив глаза, он сидел потупя голову.

– И все это, как подумаешь, – воскликнул он в порыве горя и злобы, – все эти несчастья, все эти унижения, все, все по милости поганой твари... чтоб ей пусто было...

– Не говори о ней, Бернард! – воскликнула вдруг его жена, несколько времени беспокойно наблюдавшая за ним. – Не вспоминай о ней и, главное, не проклинай ее, или ты меня уморишь!

И она опустила на скамейку, закрыв лицо передником.

До переселения своего в Брейль Бернарды долго арендовали другую ферму в окрестностях Мортани, у них была одна дочь, молоденькая прелестная девушка, радость и гордость всей семьи. Отец боготворил это грациозное создание, мать баловала излишней заботливостью и лаской.

Вдруг однажды заметили они, что их Фаншета (так звали дочь) обесчещена. Надобно знать всю неумолимую строгость нравов в Перше, чтобы понять тяжесть подобного горя; там падшая служанка не найдет себе больше никакого места; единственно, что ей остается, – это нищенство; если же провинилась дочь одного из богатых фермеров, составляющих в стране род помещиков, то последствия ее ошибки еще ужаснее. Ее бесчестием опозорено все семейство. Братья не смеют более показываться и танцевать на деревенских праздниках, сестрам никогда уже не найти себе женихов, а отец с матерью одеваются в глубокий траур и не прекращают его раньше двух лет. Никто из родных виноватой не согласится с ней видаться, и она немилосердно выгоняется из родительского дома на голод и холод.

Такова была судьба и Фаншеты Бернард; даже никто не полюбопытствовал узнать, кто был ее соблазнитель?.. А между тем, он был не из местных и скрылся из страны раньше катастрофы. Бернард, не колеблясь ни минуты, в зимний холодный вечер выгнал дочь из дому. Ни мольбы, ни слезы несчастной матери не могли вызвать в нем малейшего чувства сострадания к девушке.

С тех пор никто не знал, что случилось с Фаншетой. Чтоб скрыться от стыда, старики Бернард поспешили оставить страну, где дела их шли так успешно, и переселиться в Брейль, подальше от места, где было опозорено их имя.

Этому несчастью следовало приписать постоянный отпечаток грусти на лице фермерши и болезненную строптивость ее мужа; тот и другая, вероятно, еще сильно любили свою несчаст-

ную дочь, и их горе становилось более жгучим при мысли о невозможности простить ее когда-нибудь.

Рыдания, которых не в силах была долее сдерживать госпожа Бернард, вывели окончательно из себя ее мужа.

– Тебе чего еще нужно? – запальчиво закричал он, крепко стукнув кулаком по столу. – Чего присела сюда перед всеми хныкать, или хочется рассказать о том, что следует скрывать? Вот они, эти твари, – продолжал он с презрительной улыбкой, – только и умеют, что делать зло да хныкать, когда ничего уж поправить нельзя.

– Ах, Бернард, Бернард! неужели у тебя достанет духу попрекнуть меня!..

– Да замолчишь ли ты! – вскричал фермер уже громовым голосом.

Присутствующие вздрогнули, сама госпожа Бернард даже заглушила свои рыдания. Внутренняя дверь, остававшаяся до тех пор плотно закрытой, тут отворилась, и на пороге показались две женщины, привлеченные, конечно, только произошедшим шумом; одной из них было лет пятьдесят, другой, самое большее – восемнадцать. Одеты в костюм першских женщин, они обе были в трауре; по прялке с льном, бывшей у них за поясом, и веретену в руках должно было предположить, что они только что прервали занятие сельских хозяек, между тем, опытный глаз наблюдателя заметил бы, что, несмотря на поздний час дня, лен на прялке был не почат, а на веретене ниток слишком мало. Впрочем, белые изящные ручки незнакомок достаточно доказывали их непривычку работать, а особенная манера носить хотя бы и этот простой костюм явно обличала в них аристократок. Старшая поражала самоуверенностью и достоинством; что же касается до молодой, то ее милое и плутовское личико вовсе не согласовывалось с костюмом простой поселянки. По сходству между ними легко можно было в них угадать мать и дочь.

Личности эти, присутствия которых никто даже и не подозревал из пировавших, не перешли через порог, и пока дочь пряталась за мать, последняя сказала фермеру на хорошем французском языке:

– Так этак-то вы исполняете свое обещание, господин Бернард! Опять вы мучаете свою бедную жену! Стыдно вам не уважать ни себя, ни других.

Старик встал, сконфуженный и пораженный.

– Сударыня, я хочу сказать, гражданка, – пробормотал он, тоже на чистом французском, – другой раз, обещаю вам, этого не случится; не знаю, как и теперь лукавый попутал.

– Фи, фи, господин Бернард, – вставила свое словцо, в свою очередь, молодая девушка, выказывая из-за плеча матери свое надутое личико и грозя хорошеньким пальчиком.

Неожиданное явление этих двух женщин произвело необыкновенное впечатление на хозяйку дома, но скоро, вытерев глаза и сняв передник с лица, она опрометью бросилась к ним, произнося шепотом и с испугом:

– Подумайте, что вы делаете! Какая неосторожность, вас увидят!..

Остальных слов нельзя было расслышать, потому что фермерша, хотя очень почтительно, но энергично, почти втокнула обеих женщин в комнату, из которой они только что вышли, и, последовав сама за ними, затворила двери.

Все это произошло очень быстро.

Сконфуженный Бернард так и остался стоять около стола, прислушиваясь к неясному шуму, долетавшему все еще из соседней комнаты; работники мало обратили внимания на это происшествие и продолжали спокойно есть, но Борн де Жуи, сметливее остальной компании, не пропустил случая подтрунить над фермером.

– Вот как, господин Бернард, вы позволяете обращаться с собой этим тварям! Да старуха-то, кажется, способна на вас епитимью наложить, вот так молодчина! Перед ней даже и вы, кажется, робеете.

– Ты настоящая гиена! – ответил Бернард, садясь на свое место. – И какое тебе дело до того, что у меня в доме делается? Проработал ты два дня у меня в лугах, где ты, конечно, больше нашумел, чем дела наделал, да и работу-то я тебе дал, чтоб только ты мог заработать себе кусок хлеба, а потому ты у меня смотри, держи язык на привязи, если хочешь еще когда-нибудь здесь работать, а не то не только выгоню, да еще отдую вдобавок, если меня шибко рассердишь!

– Хорошо сказано! – вскрикнули работники, которым тоже не раз приходилось жутко от насмешек парня.

Последний немного сконфузился от такого общего сочувствия гневу Бернарда, продолжавшего уже более спокойным тоном:

– Конечно, мне тут нечего скрывать. Женщины, которых вы сейчас видели, родственницы моей жены; еще год тому назад они жили на богатой ферме в Вандее, но дом их сожгли шуаны, или другие, уж не знаю хорошенько; при этом хозяин, муж одной и отец другой, был тут же убит. С того времени у несчастной матери ничего не осталось, кроме надежды на милосердие Божье. Я принял их к себе, и вот они у меня – зарабатывают пряжей, чтобы платить мне за стол и кров. Как мне обижать этих несчастных созданий, и я надеюсь, что в моих поступках нет ничего дурного.

– Конечно, нет, – ответил один из гостей, – ваш поступок, напротив, очень хорош, честные люди обязаны помогать один другому.

Все сборище наклоном голов одобрило опять сказанное.

– Все знают, что вы достойнейший человек, господин Бернард, – начал опять своим медоточивым голосом Борн де Жуи, – но если же вы так бедны, как говорите, то как же у вас средств хватает на подобные милостыни?

– Эти женщины, говорят тебе, обрабатывают нам наш лен, а это чего-нибудь да стоит, наконец, где же ты видал, молокосос, чтоб даваемая милостыня обедняла дающего? Как ни беден, но никогда не откажу несчастному ни в куске хлеба, ни в ночлеге на сеновале; так бывало прежде и так оно будет всегда, пока Господь благословляет труды мои.

Снова работники почти единогласно заявили свое сочувствие сказанному, и Борну де Жуи неудобно было противоречить фермеру, а потому он, переменив тон и уже с легкою иронией, прибавил:

– Право, господин Бернард, вы говорите точно проповедник с кафедры. Зато у вас здесь в нескольких шагах есть сосед, в старом Брейльском замке, старый скряга, который вот уж наверное не разорится на милостыню. Говорят, пожелай он, так найдет в своих сундуках, на что купить весь Перш, а между тем скорее допустит какого-нибудь бедняка умереть с голоду у своего порога, чем дать ему кусок хлеба.

– На этот раз ты прав, Борн, – перебил его говоривший перед тем работник, – гражданину Ладранжу, хозяину замка, смерть как хочется прослыть за ярого санкюлота, но такого скряги, как он, не было, да и не будет, кажется. Два года тому назад я нанялся у него вспахать огород, и черт меня побери, если я выпросил у него лишний лиард сверх самой низшей поденной платы, а эта старая хрычовка, его ключница, не дала мне даже стаканчика водки, между тем, как, раз нечаянно зашедши в комнату, я там увидел шкафы, сверху донизу заполненные серебряной посудой. Да, недостатка в богатствах там нет; конечно, лучше было бы, если б богатство это было в более приличных руках... я поручусь, что от этого старого скряги Ладранжа и вам, хозяин, достаются невеселые минуты.

– Не жалуясь, – ответил фермер лаконично, – если господин мой строго требует ему следующее, значит, не надобно ему должать, – что касается до меня, то я его не осуждаю.

– Вы хорошо говорите, Бернард, а мы вольны думать, что хотим... Эй, ребята, не так ли? Право, это просто срам, что существует и такой скряга. Ну кто поверит, что при его богатстве

он не держит других слуг кроме работника, Мальчишки, и старой хрычовки-ключницы, да еще и этим-то, говорят, редко приходится досыта наесться.

– Так это он там один живет у себя на вышке, как сова? – вскрикнул Борн, – и ты, Жан, говоришь, что видел у него шкафы, полные серебра?

– Да, потому что я действительно их видел, мало того, поговаривают, что у него есть такая комнатка, куда кроме него никто не ходит и которая полнехонька серебра да золота.

– Тише вы! – перебил их фермер, – или хотите вы, чтобы из-за вашей пустой болтовни убили бы нашего хозяина? Конечно, правду говоря, он не очень-то добр ко мне, ну да загорюете ведь сами, если по вашей милости с ним беда случится.

На рысей фигуре Борна де Жуи яснее выразилась насмешка.

– Ну, – сказал он, смеясь, – вы все-таки еще думаете об этих разбойниках, шофферах, которыми нынче только дураков пугают. На пятьдесят верст кругом только и толков, что о них, а, между тем, постоянно вертяться в тех местах, где они, по рассказам, делают более всего опустошений, я никогда не мог ничего узнать о них. Впрочем, если шайка эта и существует, то никогда она не заберется в эту сторону Перша, и я побьюсь об заклад, что никогда...

И не dokonчив фразы, Борн остановился с разинутым ртом. Сидя против отворенной двери на двор он увидел в эту минуту вошедших туда нескольких человек, то были: Франциско, разносчик, по-видимому, еле тащившийся, опираясь на свою суковатую палку и с окровавленной повязкой вокруг головы, за ним молодой путешественник, ведущий под уздцы лошадь, все еще навьюченную коробкой торговца, а несколько позади них нищая, о которой мы упоминали, но уже несшая теперь на руках своего окончательно изнемогшего от усталости и голода ребенка.

Едва взглянул наш честный старик Бернارد на новоприезжих, как радостно закричал:

– Точно, я не ошибаюсь! Это наш добрый господин Даниэль Ладранж, мировой судья, верно, едет повидаться с нашим барином, своим дядюшкой.

И он торопливо поднялся с места, а примеру его последовали и все прочие, так как обед уже был кончен. Никто не заметил изумления Борна де Жуи при виде товарища Даниэля Ладранжа.

Пока все были в движении и хозяйка принимала гостей, мальчишка в раздумье бормотал про себя, рассматривая разносчика:

– Он! И кой черт там случилось! Он не должен ведь был прийти... Ничего! Будет, конечно, потеха, но я устою прямо! Он-то шутить не любит!..

III. Родственники и родственницы

Между тем Даниэль Ладранж, так как мы уже знаем имя путешественника в камзоле, привязав лошадь к железному кольцу во дворе, подошел к дому. Брейльский хозяин выбежал на порог встретить почетного гостя.

– Привет и братство, Бернард! – дружески сказал Даниэль, пожимая руку фермеру и повернувшись потом к аутеронам, неловко ему кланявшимся, прибавил:

– Привет и вам, честные граждане!

– Пожалуйста, пожалуйста, господин Даниэль... гражданин Ладранж, хочу я сказать, – заговорил дружески и почтительно фермер. – Здесь вам все будут рады, отдохните у нас, выкушайте стаканчик винца.

– Благодарю, Бернард, но я тороплюсь в замок, так как хочу вернуться в город сегодня же вечером, а дороги наши, несмотря на все наши усилия, далеко не безопасны. Я к вам заехал, любезный Бернард, на одну минуту и только лишь для того, чтобы доставить вам возможность сделать доброе, случай, которым, я убежден, вы не упустите воспользоваться. Уверен тоже и в том, что здесь все как следует понимают обязанности гражданства и равенства, не правда ли, мои друзья?

Последний вопрос молодого человека относился к работникам, собравшимся уже уходить.

Большая часть из них промолчала, некоторые же, помоложе, в том числе и Борн де Жуи, с поддельным или искренним, но с жаром, воскликнули:

– Да здравствует нация!

Видя, как мало энтузиастов, молодой чиновник двусмысленно улыбнулся.

– Гм! – пробормотал он. – Чувство патриотизма могло бы здесь иметь побольше отголоска, но дело не в том, в настоящее время... Бернард, я привез к вам раненого!

И в нескольких словах он рассказал, как нашел Франциско без памяти лежавшим на большой дороге, и просил оказать ему нужную помощь.

Тот же, о котором шла речь, вошел в комнату, тяжело таща за собой свою коробку и как будто выбившись из сил, упал на первый попавшийся ему стул, внимательно оглядывая, между тем, каждого из присутствующих; но ничего в этих честных и загорелых лицах не привлекло на себя его внимания. Взглянув же на Борна де Жуи, он не мог удержаться от не замеченного никем движения так, что и в голову не могло прийти окружающим, что они знакомы.

– Не унывайте, приятель, – обратился к нему Бернард, – у нас в стороне нет докторов, но моя жена сама составляет один бальзам, знатно заживляющий раны, она вам сейчас же перевяжет голову, и я ручаюсь за скорое выздоровление; ну! – продолжал он, уже начиная горячиться, – где ж она, глупое-то создание?

– Здесь я, здесь, хозяин, – отозвалась входящая в эту минуту фермерша.

И вслед за этим добрая женщина подошла к раненому, а за ней ее работницы несли мазь и полотняные бинты. Следы слез уже исчезли с впалых щек госпожи Бернард, и лицо ее приняло опять свое обычное безответно-грустное выражение.

Франциску, казалось, было весьма неприятно привлекать к себе общее внимание, он даже попробовал отказаться от ухода госпожи Бернард, но она, насильно сняв с головы его повязку и омыв рану, снова перевязала ее. Рана эта была хотя и широка, но не опасна.

– Ну, в добрый час! – начал опять Даниэль Ладранж. – Право, отрадно видеть, как свято сохраняется у вас в доме, Бернард, закон человеколюбия... Но с нами вместе сейчас тут была еще одна бедная женщина, нищая, что с нею случилось?

Из-за толпы присутствующих в эту минуту послышался слабый крик, и оглянувшиеся увидели на пороге без чувств лежащую нищую.

При входе под гостеприимный кров фермера, из-за усталости или по другой какой причине, силы изменили бедной женщине, и она тихо опустилась, увлекая за собой и мальчика, но, движимая инстинктом матери, падая, она оттолкнула его от себя, так что ребенок нисколько не ушибся. Картина была раздирающая душу. Бернард бросился поднять мальчика.

– Кажется, эта женщина идет издалека, – сказал Даниэль, – и, конечно, усталость, голод, может быть...

– Голод! – вскричал фермер.

И подбежав к столу, он отрезал огромный ломоть хлеба, но вспомнив, что лежащая без чувств женщина не может воспользоваться его милостыней, подал его ребенку, который в ту же минуту смолк и принялся жадно есть.

Госпожа Бернард, слышавшая все это и рассеянно доканчивавшая свою работу, наконец не выдержала долее: бинты вывалились у нее из рук и, оставив своих женщин оканчивать перевязку, она подошла к нищей, шепча:

– Женщина... с ребенком! Бедна! Голодна...

– Ну ладно, ладно! – прервал ее муж с нетерпением, – опять не выкинешь ли какой глупой сцены?

Но, не слушая его, госпожа Бернард, став на колени около незнакомки, боязливо всматривалась ей в лицо.

– Нет, – сказала она наконец, как будто говоря сама с собой, – та была гораздо моложе, свежа, весела всегда... впрочем, та и не посмела бы! Нет, никогда она не осмелится. – Она вздохнула, у нее из глаз выкатилось несколько слезинок, и она тихо, но усердно принялась ухаживать за нищей.

Между тем работники, совсем готовые в дорогу, стояли со своими куртками в руках и узелками, вздетыми на закинутае через плечо палки, выжидая удобной минуты, чтоб проститься с хозяином.

Старший над партией подошел к фермеру, игравшему с ребенком нищей и в то же время разговаривавшему вполголоса с Даниэлем.

– Итак, до свидания, хозяин! – заговорил он дружеским тоном. – Мы торопимся, чтоб засветло дойти до деревни Кромиер, где, верно, найдем работу.

– Прощайте, ребята! – ответил Бернард, – желаю успеха! Да приходите опять во время жатвы, работа будет, снопы придется возить.

– Давай Бог, хозяин! Эй вы, остальные, в дорогу! А ты что ж, Борн? не идешь разве с нами?

– Я передумал, – ответил косой, небрежно развалясь, – и до заутрева не уйду. Я сильно устал, проработав целый день на солнце.

– Лентяй! – проговорил с презрением Бернард. – Впрочем, делай, как хочешь, места и для тебя хватит на сеновале.

По уходе работников в зале фермы стало тихо. Даниэль Ладранж продолжал разговаривать с фермером, жена которого со своими служанками хлопотала около бедной женщины, все еще не пришедшей в себя и перенесенной ими уже на кровать. Через несколько минут шепот между разговаривавшими мужчинами усилился и перешел уже в громкий говор, когда Даниэль с жаром вскрикнул:

– Да это низость, это подлость! Будь он мне родной отец, и тогда я не скрыл бы от него мнения о его гнусном поступке. При подобных обстоятельствах отказать в убежище своей родной сестре и племяннице! Я сейчас поеду и объяснюсь с ним.

– Шшш! – остерег его Бернард, снова начавший говорить что-то вполголоса; но и во второй раз Даниэль не смог удержаться.

– Они здесь! – перебил он фермера в волнении, – у вас?.. Проведите же скорее меня к ним, Бернард; ведь, собственно, для них и в замок-то я еду, следовательно, мне скорее хочется их увидеть, и я не могу ехать к дяде, не повидавшись с ними.

Брейльский хозяин, видимо, был в замешательстве.

– Я не буду скрывать от вас, господин Даниэль, что дамы эти, особенно мать, дурно расположены к вам. Они упрекают вас за ваши... ваши... как бы это сказать?

– Мои политические убеждения, не так ли? Неблагодарная!.. Но Мария, кузина, не может же и она быть ко мне такой же строгой, как ее мать. Не правда ли, Бернард, что у Марии нет ко мне ни вражды, ни злобы?

Фермер двусмысленно улыбнулся, а Даниэль продолжал:

– Ничего! Пусть осыпают они меня обидами и упреками, но все же мне необходимо увидеться с ними. Бернард, пожалуйста, попросите принять меня на одну минуту.

Фермер кивнул головой в знак согласия и, прежде чем выйти из комнаты, подошел к разносчику, остававшемуся до сих пор в своей усталой позе.

– Ну, приятель, – сказал он, – теперь ваша рана перевязана, вам бы пойти скорей заснуть туда на сено, которое мы только что сложили; после подобной передряги, как ваша, вам нужен покой.

– Сейчас пойду, хозяин, – отвечал разносчик покорным тоном, – и много благодарен вам за ваши милости, действительно моя бедная голова сильно болит, и я насилу на ногах держусь.

– Постойте, – торопливо вмешался Борн де Жуи, – я вас сведу на сеновал, да уж и снесу туда вашу коробку с товаром, которая, верно, при теперешней вашей слабости и тяжеловата для вас; надобно ведь помогать друг другу, как говорит гражданин судья.

– Это хорошее правило, и гражданин мировой судья его отлично применяет к делу; благодарю тоже и его, в ожидании, что Господь наградит его своими милостями.

И он вышел с Борном де Жуи, так любезно предложившим свои услуги.

Между тем нищая начала понемногу приходить в себя и не замедлила открыть глаза; взгляд ее, сначала тусклый и бессмысленный, остановился на фермерше, и еще мгновение и не только глаза, но все лицо ее озарилось мыслью и сильным чувством.

– Хозяин! – вскрикнула добрая фермерша пресекающимся от волнения голосом, – умоляю тебя, приди сюда, посмотри!

– Что там еще? – спросил, подходя, и все еще с ребенком на руках, Бернард.

Тут внимание несчастной нищенки перешло на другой предмет; глаза ее обратились на Брейльского хозяина, и, скрестив на груди руки, она вскрикнула: невыразимое счастье отразилось в каждой черте ее лица. Крик этот был до того способен потрясти душу всякого слышавшего его, что даже сам фермер смутился.

– Бернард, не находишь ли ты сходства в этом голосе, в этом взгляде?..

– Замолчи! Ну, честное слово, ты окончательно с ума сойдешь, думая постоянно все об одном и том же; не видишь разве, что несчастная женщина просит за своего мальчугана, может, она боится, что его у нее съедят, да он и в самом деле такой красавчик, что укусить хочется.

И старик-добряк, несмотря на свою обычную суровость, поцеловал ребенка, ему улыбавшегося, и положил его около матери на постель.

– Но, – продолжал он уже со своей всегдашней горячностью, – однако у меня много дел, чтобы заниматься с этим созданием; да к тому же ей здесь и не место, отведите-ка ее в сушильню. Да туда и снесите ей все нужное, а потом каждый к своей работе! Ведь дело-то не будет делаться, пока мы будем ворон ловить.

И он вышел в соседнюю комнату, а когда через пять минут вернулся, в зале никого уже не было кроме Ладранжа, в волнении ждавшего его возвращения. Сделав знак молодому человеку следовать за ним и впустив его в комнату, где находились таинственные незнакомки, он скромно удалился.

Комната эта была устроена с тщательностью и опрятностью, мало свойственной першским фермерам; два решетчатые окна, выходившие во двор, пропускали в комнату свет и воздух; белая деревянная кровать, такой же стол, стулья и большой шкаф, все это было так тщательно вычищено, что блестело, как полированное.

Между тем, ничто в особах, живущих в этой комнате, не обнаруживало лиц высшего круга; ни малейшего предмета роскоши, ни малейшего украшения, ничто, одним словом, не шло вразрез с этой сельской обстановкой; только два фаянсовых горшка, стоявших на камине, были наполнены свежими цветами.

Несмотря, однако, на всю эту простоту, так походившую на бедность, комната имела такой свежий, такой приличный вид, что на ней лежал отпечаток ее временных обитательниц.

Особы, которых мы вскользь увидели в предшествующей главе, сидели у окошка; костюм их остался тот же, только прялки исчезли, и обе казались чрезвычайно взволнованными, но строгие черты лица матери выражали горе, гнев и презрение, тогда как на прелестном личике девочки сквозь замешательство проглядывали удовольствие и надежда.

Даниэль тоже был очень взволнован, и сердце его сильно билось, несмотря на это он не выговорил ни слова, пока крепко не затворил за собой дверь, и только тогда, сняв свою шляпу, он бросился к обеим женщинам со словами:

– Маркиза!.. Милая моя Мари! Как я счастлив, что снова вижу вас!

– Здравствуйте, кузен Даниэль! – ответила молодая девушка с увлечением, и она собралась уже протянуть брату руку, а может, и подставить щечку, как взгляд матери остановил ее. Во взгляде этом было столько вражды, что он ошеломил Даниэля; гордая женщина, кажется, наслаждалась его замешательством.

– Привет вам, гражданин! – сказала она, наконец, колко и с иронией. – Я тотчас догадалась, услышав возгласы, раздающиеся при настоящих ужасных событиях, что причиной им здесь должен быть только ваш приезд или приезд моего достойного брата. Но как, кажется, братец мой из таких пустяков, как, например, навестить нас, не покинет своего дома, боясь, вероятно, скомпрометировать себя, значит, оставались вы один, способный возбудить подобный взрыв патриотического энтузиазма. А потому сознаюсь в своей недогадливости, мне следовало бы сразу узнать Даниэля Ладранжа... если вы только до сих пор удостаиваетесь еще носить это имя, может, вы его уже переменяли на имя там какого-нибудь Брута или Муция Сцеволы, или Катона, как сделала большая часть из ваших приятелей санкюлотов.

Хотя молодой человек заранее готовился к худому приему своей тетки, все же он был далек от мысли встретить так много злобы и презрения, а поэтому грустно ответил:

– Маркиза! Умоляю вас! не относитесь ко мне так дурно. Хотя я и усвоил в некоторых отношениях новые идеи, но ничто не изменилось во мне, я остался все тем же вашим Даниэлем, сыном вашего меньшего брата, бедным сиротой, которому когда-то вы и господин маркиз оказывали так много любви и участия.

– Не произносите этих имен! – перебила его маркиза, топнув ногой. – Не смейте говорить ни о моем брате, этом честнейшем из людей, ни о моем муже, этом великодушном мученике, или вы с ума меня сведете! Неужели вы думаете, что, если бы жив был мой брат, такой добрый, справедливый, он согласился бы признать своего сына под этим позорным костюмом, который я на вас вижу; не думаете ли вы, что и муж мой любил бы вас, если б мог ожидать, что впоследствии вы будете разделять мнения его палачей? Да, его палачей, потому что ведь это друзья ваши, Даниэль Ладранж, пролили эту драгоценную кровь...

Слезы пресекли ее голос. Мария и Даниэль тоже были растроганы.

– Маркиза! Дорогая тетушка, – начал мировой судья после нескольких минут молчания, – умоляю вас, соберитесь с духом, придите в себя... ваше горе, как ни естественна причина его, делает вас несправедливой и жестокой. Но что я могу сделать один против ожесточенной нации? Должен настать день, когда народ устанет свирепствовать, и тогда, быть может,

честным людям удастся все совершенно успокоить. До тех пор они только могут, как отдельные личности в округе своих обязанностей, делать возможное добро, о чем я теперь и пекусь, маркиза, и в чем мне иногда удастся успевать, точно так беру небо в свидетели, что если бы я мог, рискуя своей жизнью, спасти вашего мужа, так горячо любимого мною дядю, я ни одной минуты не задумался бы сделать это.

– О, мама! Верьте ему! – вскричала мадемуазель де Меревиль, бросаясь на шею к маркизе. – Ручаюсь вам, что Даниэль спас бы непременно моего доброго папу, если бы только это было возможно.

– Замолчите, сударыня! – сказала повелительно маркиза. – Что ж, вы верите всем этим пустым бессмысленным фразам, этим по наружности высоким чувствам? Я знаю, что действительно гражданин Даниэль говорит всем, что он приносит себя в жертву своему семейству; конечно, вместо того, чтоб осуждать его, мы должны бы были удивляться ему и питать к нему чувство глубочайшей благодарности!..

– Отчего же и нет, мама? – смело перебила ее молодая девушка. – Даниэль уже оказал нам такие услуги...

Настала очередь Даниэля перебить ее.

– Ради Бога, кузина, – сказал он, – не навлекайте на себя, защищая меня, гнева, если уж не оправдываемого, то объясняемого столькими несчастными событиями... Я не хочу оправдывать себя, – продолжал он, обращаясь к маркизе, – теми услугами, на которые я мог бы указать, начиная с самого начала этой революции; сознаюсь, собственные размышления, изучение прав, особенный инстинкт, может быть, заставили меня усвоить некоторые мнения, восторжествовавшие нынче. Но я не оправдываю строгого, безжалостного применения этих правил, я оплакиваю крайности, ими вызываемые, но, как и многие другие, я думаю, что эти преходящие неурядицы породят добро. Между тем, клянусь вам, маркиза, что я с уважением и состраданием смотрю на все ее жертвы, сильно хотелось бы мне спасти их, но что может один человек против урагана?

– Еще раз, все это – одни фразы, – ответила маркиза мрачным голосом. – Если бы в вас действительно были те великодушные чувства, которыми вы играете, почему бы вам было не употребить ваше влияние, рискнуть даже вашей собственной безопасностью, чтобы избавить вашего дядю, моего мужа, от ужасного мщенья ваших «достойных» друзей?

– Сжальтесь, маркиза! Не обвиняйте меня, – возразил с отчаянием Даниэль, – не упрекайте меня за то, что есть не что иное, как действие несчастного случая. Как ни тяжелы для вас и для Марии эти воспоминания, но все-таки позвольте мне напомнить вам, как дело было. Ни вы, ни ваш муж из чувства, которое я уважаю, не хотели оставить страну... уверенные в уважении и привязанности к вам ваших соседей. Вы мирно жили в вашем Меревильском поместье, местности отдаленной, куда рев общественной бури доходил значительно ослабевшим, был почти незаметен. Господин де Меревиль принадлежал к числу тех благоразумных дворян, которые были не против революции в ее начале, он признавал необходимость сокращения злоупотреблений монархической власти: в нем самом не было ни заносчивости, ни предрассудков своего сословия, что он доказал уже и тем, что женился на вас, маркиза, принадлежащей хотя почтенному семейству, но все же из среднего класса. Кроме этого, в нем было так много добродушия и простоты в обхождении, он умел так хорошо овладевать сердцами, следовательно, можно было надеяться, что вы останетесь забытыми, к тому же я рассчитывал и на свое влияние в стране, чтоб удалить от вас все нападки и опасности. В это время случилось происшествие десятого августа. Целый свет содрогнулся от ужасного поступка, совершенного народом; между тем мне казалось, что и это сотрясение должно было пройти без влияния на вас, как вдруг я узнаю, что господин де Меревиль скрылся и что вы с кузиной одни остались в замке. Я подумал, что дядюшка оставил страну и, встревоженный, поспешил к вам. Вы попробовали меня разуверить, маркиза, сказали, что он поехал по своим делам и не замедлит вернуться.

Я не поверил вашему наружному спокойствию, тщетно старался выманить у вас вашу тайну, но только, к большому своему прискорбию, увидел, что вы уже начали опасаться меня, и с разбитым сердцем я уехал от вас, ничего не узнав наверное, что произошло? Я не знал, но угадывал только одно, что терпение благородного либерала истощилось, но на какое опасное предприятие он решился, угадать я не мог, а узнал только тогда, когда вмешаться с надеждой на успех было уже поздно. Однажды, месяца два тому назад, я прочитал в газетах страшную новость; долго я не мог верить, в глазах рябило, голова кружилась, а, между тем, дело было верно, несомненно, и я узнал, наконец, то, что вы имели духу скрыть от меня.

Маркиз де Меревиль, испуганный слишком быстрым развитием революции и громадными размерами, ею принимаемыми, тайно подстрекаемый неосторожными друзьями, отправился в Париж, чтоб участвовать в смелом предприятии, цель которого была освобождение короля и королевского семейства. Заговорщики, не имея возможности предупредить катастрофу двадцать первого января, тем не менее упорствовали в своем намерении спасти королеву и дофина, но им изменили, их арестовали и двадцать четыре часа спустя после этого все было кончено.

Как видите, маркиза, я узнал одновременно из журнала и о необдуманной попытке этих смелых дворян, и о несчастных последствиях этой попытки. Может быть, если бы вы с самого начала сказали мне, в какое опасное предприятие пускается дядюшка, мне удалось бы уговорить его, не удалось бы это, я бросился бы в Париж и, рискуя, хотя... но вы побоялись довериться мне, и нам пришлось всем оплакивать эту недоверчивость!..

Несмотря на всю глубину горя, меня поразившего, я сознавал, что прежде всего мне надобно было заботиться о вашей безопасности. Я предвидел, что вас не оставят в покое в Меревиле, и, действительно, два дня спустя после прочтения ужасной вести я получил, как административный чиновник, приказ от полиции о немедленном вашем аресте; но мне удалось предупредить вас и найти вам убежище. Не решаясь сам поехать в Меревиль, так как мое отсутствие могло породить опасные подозрения, я послал к вам одно доверенное лицо, чтоб отвезти вас переодетыми в ту же ночь сюда. Мне казалось, что в Брейльском замке, под покровительством вашего брата, имеющего вид от революционного правительства и демократический образ мысли которого всем известен, вы были бы вне всякой опасности, а потому я немного успокоился, когда мой поверенный, возвратясь отсюда, сообщил мне, что вы благополучно добрались до этого мирного округа.

Вот мое поведение за все это время, маркиза. И позвольте мне спросить вас, может ли оно назваться поведением честного человека и доброго родственника?

С этого времени я мог только издали наблюдать за вами, не смея сам приехать, потому что и за мной тоже следят, и малейшая неосторожность с моей стороны может погубить меня вместе с вами. Я был уверен, что вы находитесь у вашего брата в доме, в собственный интерес которого должно бы входить покровительствовать вам; но судите о моем изумлении, когда, не вытерпев долее и пренебрегая опасностью, только чтоб навестить вас, я, приехав сюда, узнаю, что дядя Ладранж отказал в убежище своей сестре и племяннице и что, приняв их только на одну ночь в замке, он потом из страха и эгоизма предоставил своему фермеру заботу о двух несчастных беззащитных страдальцах и что даже во все это время ни разу не приехал на ферму, чтоб навестить, утешить, ободрить их. Теперь я еду к нему, я постараюсь заставить его покраснеть за свое поведение.

– Почему ж вы удивляетесь этому поведению и за что тут краснеть моему брату? – спросила с горькой иронией маркиза. – Ваш дядя, гражданин Даниэль, остается верным самому себе, он не ищет, подобно другим, возможности скрыть свой эгоизм под маской самоотвержения и великодушия. Делав столько для сохранения своего состояния и жизни, станет ли он все это подвергать опасности, давая у себя пристанище вдове и дочери аристократа и заговорщика? Наконец, и гражданка Петронилла, его экономка, не простила бы ему этого... Впрочем,

прекрасный братец мой и сам расчетлив, а ему слишком бы дорого стоило содержать двух бывших дворянок; гораздо лучше, под предлогом их безопасности, отправить их на легкую пищу и мало стоящее содержание Першской фермы.

Но, пожалуйста, оставим этот разговор, милостивый государь, ни моя дочь, ни я, мы не жалуемся и ни у кого милостей не просим, а уж если нам предоставлен выбор благодетелей, то мы, конечно, предпочтем всем другим честных поселян, приютивших нас.

Эта преднамеренная недоверчивость, эта потребность ненавидеть, проглядывающая во всяком слове маркизы, в высшей степени огорчили Даниэля.

IV. Брейльский замок

Прежде чем идти далее, нам нужно дать читателю некоторые нужные сведения о семействе Ладранж, несколько членов из которого будут играть важные роли в этом рассказе.

Ладранжи были одни из тех богатых семейств, которые, несмотря на свое мещанское происхождение, живут в провинции наравне с дворянами. Может быть, даже предки их и были из дворян, как уверяли некоторые из них, но два или три поколения пренебрегли возможностью заявить права на свое дворянство; богатство их шло еще от Петра Ладранжа или де ладанжа (в этом-то и заключался спор), оружейного мастера, поселившегося в конце шестнадцатого века в Нанте и скоро обогатившегося через морскую торговлю; потомки его прекратили торговлю, но, что бывает чрезвычайно редко, их состояние не уменьшилось в течение двух веков, так что во время революции оно было громадно.

С другой стороны, Ладранжи не упускали ничего для приобретения влияния в стране. Они были в родственных связях с самыми почтенными семействами из Боссе и Шартра, некоторые из них служили отлично по магистратуре в городе Шартре, двое были уездными судьями; последний из них, Павел Ансельм Ладранж, умерший в 1780 году, был отцом Даниэля.

Павел Ансельм, или, как в семье и даже во всей стране звали его, «судья» имел старших брата и сестру. Старший брат его, настоящий владетель Брейльского замка, в котором он и жил, наследовав по тогдашним законам все состояние семьи, проявил себя в самой ранней молодости слишком корыстолюбивым и жадным, чтобы брат с сестрой могли ожидать от него чего-нибудь определяемого законом, а потому Павел Ансельм должен был довольствоваться скромным местом, купленным для него отцом в Шартре, сестра же была предназначена в монастырь.

К счастью, Павел Ансельм был человек недюжинного ума, а сестра очень хороша собой, и пока первый постепенно возвышался, достиг одной из первых ступеней магистратуры в родном городе, вторая вышла замуж за маркиза де Меревиль, сельского дворянина, имевшего большие поместья в Орлеане.

Несмотря на то, что долго занимал «важные» должности, судья умер бедняком, оставя сына Даниэля двенадцатилетним сиротой без какого-либо другого состояния, кроме маленького дохода со стороны матери; конечно, Даниэль мог бы считаться будущим наследником своего дяди Ладранжа Брейльского, не только не проживающего своего состояния, но постоянно всеми способами, более или менее благовидными, увеличивающего его, но брейльский дядюшка, с которым сейчас познакомится наш читатель, далеко не был человеком, способным на малейшую жертву для бедного родственника. Он не прежде согласился принять на себя обязанность опекуна Даниэля, как убедаясь, что у мальчика есть достаточно своих средств, чтобы не быть на его содержании; впрочем, его обязанность как опекуна ограничивалась весьма малым: отдав своего племянника полным пансионером в Шартрское училище, он видел его только во время каникул, когда мальчик являлся в Брейль пользоваться по теории и на практике уроками суровой экономии; позднее, чтобы окончить образование, дядя отправил его в Париж, откуда Даниэль возвратился уже адвокатом. При каждом удобном случае дядя предупреждал Даниэля, чтобы расходы его ни под каким видом не превышали ни на один лиард его маленького дохода, и молодой человек строго сообразовывался с этими предостережениями.

Но если Даниэль находил одну суровость и эгоизм в своем опекуне и дяде, то совсем другое встречал он в тетке своей госпоже де Меревиль. Маркиза всегда горячо любила своего меньшего брата, и всю силу этой привязанности перенесла на его сына, так что даже и маркиз всей душой полюбил сироту. Когда мальчик являлся провести несколько дней в Меревиль, маркиз осыпал его подарками и всячески старался доставлять ему удовольствия, приличные его детскому возрасту, но которых опекун лишал его.

Немного позже, когда Даниэль изучил закон, маркиз, немного сутяга, как быть следует всякому хорошему помещику, любил советоваться с ним насчет своих тяжёбных дел и о своих воображаемых или действительных правах; но что более всего привлекало Даниэля в Мереви́ль, это его кузина Мария, прелестный ребенок, выросший на его глазах, и за постепенным ее развитием он сам мог следить. Дружеская короткость, установившаяся в их отношениях, может быть, с переходом в юношеский возраст перешла бы и в любовь, но ничто похожее на признание не было произнесено ни одним из них; они уж так давно любили друг друга, это чувство в них было так естественно, что они и сами, может быть, не подозревали, какого оно свойства, впрочем, и то сказать, они так редко виделись, а в последнее время в жизнь обоих нахлынули такие потрясающие душу обстоятельства, что им положительно было не до анализа своих чувств.

Итак, в этих двух родственных домах, так различных между собой, как Брейль и Мереви́ль, проходили короткие отпуска, даваемые Даниэлю его трудными занятиями, и легко отгадать, какой из двух он предпочитал; проведя несколько недель у дяди Ладранжа, он делался мрачным, после же нескольких дней пребывания в гостеприимном Меревиле веселье и свежесть возвращались на его личико, глаза загорались снова своим обычным блеском, а пылкая душа рвалась в юношеских порывах. Однако веселые пребывания в Меревиле не были способны отвлечь молодого человека от его забот о своем будущем. Благородно-честолюбивый, не надеясь ни на кого кроме себя, он усидчиво трудился, готовя себя к роли, предстоящей ему в обществе, зато когда он вернулся в Шартр со званием адвоката, то все говорило жителям города, что они приобретают дельного, неподкупного чиновника, каким был его покойный отец.

Здесь скажу я несколько слов о его свободных идеях, так вооружавших против него его тетку.

Как известно, принципы, во имя которых совершилось падение монархии, не принадлежали исключительно одному какому-нибудь из сословий; когда взрыв последовал, то все светлые умы в дворянстве, как и в среднем классе, в духовенстве, так и в народе сходились на убеждении о необходимости перемены правления; расходились лишь во мнениях — в каких границах должна заключаться последующая реформа?

Магистратура, которая особенно, как орган парламентов, так долго и упорно боролась с неограниченностью власти, была давно уже склонна к оппозиции и свободе.

В этом заключалась точка отправления Даниэля Ладранжа. Уважаемые законоведы, старинные друзья его отца, посвятили его в некоторые истины, переходящие от одного поколения к другому; с другой стороны, изучение прав, чтение великих мыслителей восемнадцатого века, а может быть, и чувство великодушия, влекущее всегда молодых людей к защите угнетенного класса, бросили его в круг новых идей, и, конечно, никто чистосердечнее его не приветствовал революцию.

Между тем как заговорщики оспаривали друг у друга влияние на ход революции, Даниэлю хотелось бы остановить ее в известных границах; но, впрочем, если он и сожалел, что эти границы были перейдены, то все же он этого не очень пугался и вот почему: когда он определился в Шартрский суд, он особенно сошелся с одним из своих новых товарищей по службе, человеком высокого ума и необыкновенному красноречию которого все удивлялись. Собрат этот был знаменитый Петьон де Вильнеф, назначенный местным Шартрским правлением депутатом в общее собрание. Петьон оценил возвышенный образ мыслей, смелость и энергию Даниэля Ладранжа; после расставания между ними установилась деятельная переписка. Петьон направлял мысли своего молодого друга, поддерживал его в отчаянии, до которого часто доводили его неистовства партий, и в виде утешения указывал ему всегда в конце всего этого на великое перерождение общества, о котором они оба мечтали.

Сделавшись мэром Парижа и президентом Национального собрания, Петьон облек Даниэля своим полным доверием, дал ему огромные права в стране. Ладранж, бывший номинально не более как мировой судья, в сущности же был предводителем умеренной революционной партии в провинции, и часто, благодаря своему влиянию, ему удавалось спасти изгнанника или предупредить какое-нибудь гибельное увлечение.

К несчастью, покровительство своего старого сослуживца он вдруг потерял. Петьон, побежденный в борьбе своей против ла Монтаня, обвиненный, принужден был бежать и умер ужаснейшей смертью в окрестностях Бордо с двумя другими депутатами, объявленными, как и он сам, вне закона.

Говоря с госпожой Меревиль о только что утраченном влиятельном друге, Даниэль говорил о Петьоне.

Жестоко огорченный в своих привязанностях и разочарованный в верованиях, Ладранж действительно чувствовал отвращение к победившей партии; но как было остановиться ему на скользкой покатоности дороги, по которой он пустился? Он знал, что всем известное отношение его к Петьону делало его самого подозрительным для господствующей партии, а потому не только сознавал, но был уверен, что при малейшей его нерешимости он мог пропасть, а это лишило бы последней поддержки меревильских дам и его дядю, которого уже не раз единственно его влияние спасало от раздражения черни.

Все эти соображения вынудили его решиться не высказывать своих настоящих мнений и скрывать свое отвращение к первенствующей партии; а потому незаслуженная несправедливость тетки, несправедливость, которая только слегка сглаживалась словами Марии, расшевелила в душе его все горькие сомнения.

Направляясь по аллее к замку, он мысленно спрашивал себя, действительно ли нет никакой доли правды в словах маркизы и достаточно ли извиняют его поведение желание и необходимость оберегать родных и, наконец, свою собственную свободу? Но мрачный и запустелый фасад Брейльского замка, показавшись из-за деревьев, дал другое направление его мыслям.

Брейльский замок – было старинное, массивное, четырехугольное здание, находившееся, вследствие скупости настоящего владельца, в состоянии весьма близком к разрушению: столетние дубы, его окружавшие, отнимали у него и свет, и воздух, и при виде всех окон, постоянно затворенных ставнями, должно было счесть замок нежилым; кровли везде заросли мхом, а из больших каменных труб нигде не виднелось и струйки дыма; вообще, все здание до того обросло сверху донизу и со всех сторон высокими травами, что казалось, будто оно прячется от посторонних глаз. Ни одна курица не кудахтала на большом дворе; на заржавевших флюгерах не было видно ни одного голубя, только из окружающего леса слышалось по временам пение и крики диких птиц.

Передний двор по обыкновению был обнесен железной решеткой, и сверх того еще изнутри был сделан крепкий тесовый забор, не позволяющий постороннему глазу Проникать внутрь двора. Ворота, прочно заколоченные, казалось, уже давно не отворялись, да и дворницкая, видневшаяся сквозь доски, стояла с провалившейся крышей и скорее походила на развалину, чем на жилое помещение. Вследствие этого, конечно, Даниэль, хорошо знакомый с порядками в доме дяди, стал пробираться к маленькой двери, устроенной в одной из высоких каменных стен, окружавших здание, и наполовину закрытой плющом, как к единственному входу в Брейльский замок.

Когда, подъехав, он хотел сойти с лошади, то в нескольких шагах от себя заметил человека, неподвижно стоявшего и с большим вниманием рассматривавшего замок; углубленная в свое созерцание личность эта даже не заметила его приближения, и только обернувшись на шум, произведенный лошадью Даниэля, и взглянув на всадника, незнакомец засвистал и пропал в лесной чаще.

В эти времена смут малейшее, ничего не значащее, по-видимому, происшествие подавало уже повод к подозрению, а потому, не будь Ладранж так сильно занят в это время другими соображениями, он непременно захотел бы узнать причину, привлекающую этого бездельника к дому его дяди, но в данную минуту возбужденное этим явлением подозрение Даниэля тотчас же стушеввалось, и, соскочив с лошади, он торопливо подошел к двери и дернул за старую, в узлах веревку, висевшую тут.

Не прошло и пяти минут, как дом, казавшийся до тех пор нежилым, вдруг будто бы очнулся, внутри его поднялся звонкий собачий лай; произошла общая суета, несмотря на которую молодому человеку пришлось прождать еще минут пять, по крайней мере, пока человеческое существо явилось на звон его колокольчика; он собирался уже звонить второй раз, как послышалось за стеной шлепанье башмаков и старушечий крикливый голос спросил на местном аргю:

– Кто там опять лезет? уж, верно, какой-нибудь бродяга!.. С Богом идите дальше, здесь ничего не дают.

Даниэлю был хорошо знаком этот сварливый голос, а потому он нетерпеливо ответил:

– Это я, Петронилла! Откройте скорее, мне нужно спешно увидеть дядю!

Но просьба эта не привела к желаемому результату, только форточка, проделанная в двери, тихонько отворилась и в ней показалась старушечья всклокоченная голова, глядевшая на посетителя скорее удивленным, чем обрадованным взглядом.

– Это кто? Даниэль? Кой черт мог ожидать его сегодня сюда! Но вы, надеюсь, милый мой, ехали через ферму и, конечно, там пообедали, что было бы весьма кстати, так как у нас съестного мало чего водится.

Говоря таким образом, старуха не торопясь отодвигала один за другим огромные засовы, запиравшие дверь; конечно, ни одна крепость в мире не могла надежнее охраняться, чем Брейльский замок.

Наконец дверь, заскрипев на своих заржавевших петлях, отворилась, и Даниэлю можно было войти. Увидав, что он ведет за собой и лошадь, старуха опять заносчиво крикнула:

– Милосердный Господь! Да в уме ли вы, Даниэль, что ведете к нам и свою клячу? У нас ведь нет ни сена, ни соломы, а что касается до конюшни, так в ней давным-давно уже и крыши нет, прошлую зиму еще я сожгла все желоба и стропила; к тому же вы ведь, конечно, долго здесь не останетесь, не так ли? Вероятно, вы сегодня же вечером и уедете. Тогда она может пощипать и этой высокой травы, которой везде много, а Иероним принесет ей ведро воды, вот и будет с нее на этот раз.

Двор, на который вошел Даниэль, действительно сплошь был покрыт крапивой и волчицей, росших среди валявшихся то тут, то там земледельческих полусгнивших инструментов, телег без колес и бездонных бочонков.

На замечание Петрониллы путник наш ничего не ответил, зная бесполезность подобных переговоров; взяв под уздцы и распустив поводья своей лошади, он пустил бедное животное пользоваться скромным угощением, а сам последовал за госпожой Петрониллой.

Женщина эта, как казалось, управительница замка, была крестьянка из окрестностей, маленького роста, и при многочисленности носимых ею юбок представляла собою нечто вроде шара; между тем качество ее туалета не восполнялось числом, так как вся она была в лохмотьях. Костлявое лицо Петрониллы, ее красные, вечно моргающие глаза, широкий рот, который, раскрываясь, показывал только два черных зуба, длинных, как клыки кабана, все это, вместе взятое, составляло необыкновенно безобразное целое. Не переставая вязать и с невероятной скоростью шевеля своими старыми пальцами, старуха пошла вперед, положив клубок в свой испещренный заплатками передник и воткнув одну из спиц в отвратительную свою повязку.

Петронилла уже более тридцати лет находилась в услужении у господина Ладранжа Брейльского, а потому знала Даниэля еще ребенком, но ни одного приветливого, радужного

слова к племяннику своего господина не нашлось в черством создании, напротив того, она так недружелюбно взглядывала порой на него, что можно было предположить, будто встретила врага. Даниэль, не обижаясь нисколько на этот неприязненный прием, спросил только, здоровы ли все в замке.

– Здоровы, здоровы! Вот сами сейчас увидите, – сердито отвечала старуха, – хотя это, может, и не совсем-то выгодно наследникам, ожидающим наследства и для этого приходящим обедать сюда, но что же делать? Все же это так, как ни печальна действительность.

Привыкший к дерзким выходкам экономки, Даниэль не обратил на нее внимания, а может, озабоченное состояние духа помешало ему даже понять и смысл ее речей. Итак, пробираясь посреди разного хлама, покрывающего двор, они пришли к входной двери замка, находящейся на противоположном фасаде. Прошли они и мимо конуры старой собаки, все еще не перестававшей лаять, гремя своей цепью; но только что животное узнало вновь прибывшего, как сердитый лай ее превратился в радостное ворчание и она замахала хвостом; быть может, припомнились старому псу в эти минуты кусочки хлеба, потихоньку приносимые ему Даниэлем-школьником! Рассеянно приласкав доброго сторожа, Даниэль пошел далее.

Внутренний фасад замка был так же мрачен, как и наружный; все окошки бельэтажа были плотно заколочены, только два или три, остававшиеся открытыми в нижнем этаже, свидетельствовали о жилых комнатах; но живые заборы и деревья сада, не подстригаемые с давних пор, а потому и сделавшиеся непроходимым лесом, образовали собою натуральные щиты, скрывающие это обстоятельство от прохожих, да и все остальное было, видимо, устроено с намерением показать постороннему глазу, что замок покинут своим хозяином. Собираясь всходить по расшатавшимся ступеням на крыльцо, молодой судья услышал позади себя застенчивый голос.

– Здорово и братство, господин гражданин Даниэль.

Нелепое это приветствие заставило обернуться молодого человека, и через кучу хвороста, служившего изгородью саду, он увидел молодого мужика, облокотившегося на заступ и глупо и приветливо ему улыбавшегося.

На этот раз Даниэль вернулся и, подойдя ближе к приветствовавшему его, дружески ответил:

– Здравствуй, Иероним! О, да как ты, милый мой, вырос!

Иероним не успел еще ответить, как старая Петронилла опять вмешалась.

– Ну вот, теперь будете и его заставлять попусту терять время, – начала она. – Тунеядец, который не зарабатывает съедаемого им хлеба.

Бедный Иероним, не смея больше говорить, принялся опять за работу, и Даниэль, в свою очередь, зная влияние этой женщины на дядю и признавая за необходимость не раздражать ее, удовлетворился тем, что, кивнув приветливо работнику, вошел в дом.

Большая комната, без потолка, с кирпичным полом, казалось, была общей залой нынешних обитателей Брейля, то была прежняя кухня в замке. Обставлена она была старой, разношерстной мебелью: в углу стояла старая кровать с ситцевой занавеской, хозяйственные принадлежности, стол с бумагами, хлебная квашня, охотничьи ружья и мялка для конопли; все это, покрытое толстым слоем пыли, являло в комнате такой беспорядок, какой только можно себе представить.

В этой комнате и смежной с ней заключались единственные жилые покои замка, остальные же, а их было много, были заперты и в них никогда никто не входил.

Около сломанного стола, на котором еще виднелось немного житного хлеба, стакан вина и два печеных яблока, сидел человек лет шестидесяти, высокий, худой, с красным осунувшимся носом, маленькими, блестящими, как у борова, глазами. На голове у него была старая треугольная шляпа, украшенная большой трехцветной кокардой, и из-под этого почтенного украшения выбивалось несколько прядей желтовато-белых волос. Костюм его состоял из длинного коричневого сюртука, прорванного на локтях и зашитого тут и на спине белыми нит-

ками, и из бархатных шаровар оливкового цвета, преобразованных в панталоны с помощью надставок внизу у ног из другой материи и другого цвета. Это был не кто другой, как владелец Брейльского замка Михаил Ладранж и, как все говорили, один из богатейших капиталистов старой провинции Перш.

Приезд посетителя его, казалось, сильно встревожил; при раздавшемся звонке он прервал свой скудный завтрак и стал боязливо вслушиваться; зато при виде своего племянника у него, видимо, отлегло от сердца, и, радостно вздохнув, он пошел ему навстречу, выказывая при этом столько радушия, сколько никогда еще не случалось.

– Ах, так это ты, мой молодчина! – весело выговорил он, протягивая к нему руки. – А я не ожидал тебя и немного испугался... Но что с тобой? – прервал он себя, заметив озабоченный вид Даниэля. – Уж не привез ли ты дурных вестей каких? Нет ли у вас чего нового там, в городе?

– Нет, нет, дядюшка! Нет ничего такого, чего бы вы не знали уже давно.

– Ну, в добрый час! А то я, видя твое такое расстроенное лицо... Но это, конечно, от усталости с дороги, пойдем, садись, да поешь со мною.

И он указал на остатки своего убогого завтрака. Даниэль сел, но есть отказался.

Дядя Ладранж продолжал:

– По крайней мере, ты не откажешься выпить? Петронилла! Там в шкафу ты найдешь бутылку, в ней еще винцо есть; принеси-ка ее сюда, чтоб нам с Даниэлем выпить за благоденствие нации и за истребление аристократов.

– Это еще что? Весь дом кверху дном повернуть, что ли? – грубо, как всегда, ответила экономка. – Малый-то, кажется, знаком с нашими-то порядками... – Но повелительный знак старого Ладранжа унял расхажившую старуху, хотя и ворча, но все же тотчас же исполнившую приказание. Из любезности Даниэль помочил губы в какой-то уксус, очень аккуратно ему налитый дядей, и который сам дядя пил с видимым наслаждением.

– Хочешь, верь мне или нет, Даниэль, – начал опять старик, – но я, в самом деле, я очень рад, что ты приехал: давненько уж собираюсь я все переговорить с тобой об одном деле, сильно меня озабочивающем, зная же тебя за честного гражданина и хорошего патриота, я надеюсь на тебя, дело идет об очень серьезном предмете... Ты увидишь... Надеюсь, ты у меня ночуешь?

Даниэль объяснил, что, к сожалению, он должен сегодня же вечером вернуться в город.

– Вы, конечно, знаете, дядюшка, что со смертью моего несчастного друга, знаменитого гражданина Петьона я сам чуть ли не в подозрении у членов комитета, а потому мое продолжительное отсутствие из города может быть худо перетолковано.

– Ты! В подозрении? – вскричал дядя Ладранж, радушие которого заметно при этом известии убавилось. – Ты, имевший такое влияние, творивший радость и горе в стране, что ж, разве ты делаешься врагом нации? В таком случае, предупреждаю тебя, я тоже отвернусь от тебя... твой друг Петьон, теперь можно это сказать, был действительно не более как умеренный, тайный партизан Капетов и их семейства, даже, может быть, секретно был и заграничный агент, и они хорошо сделали...

– Дядюшка! – перебил его в сильном негодовании Даниэль. – Вы забываете, что только благодаря Петьону мне удалось дать вам вид от революционного правительства – обстоятельство, которому единственно вы обязаны своим настоящим спокойствием и безопасностью.

– Тише, тише! Милый мой! – заговорил беспокойно Ладранж, оглядываясь кругом. – К чему так громко кричать?.. Нельзя знать, где может прятаться и подслушать тебя шпион! Но послушай меня, дитя мое, я старше тебя, а потому и опытнее тебя и хочу тебе дать совет. Старайся ты, чего бы тебе это ни стоило, держаться в хороших отношениях с теперешним правительством. Например, оно не любит аристократов и круто поворачивает их, ну что ж тут худого? Все несчастья нации происходят от этих аристократов, от которых мы до сих пор не можем очистить страну.

– Любезнейший дядюшка, – ответил Даниэль, – вы, кажется, забываете, что за несколько лет до революции вы писали государственному канцлеру, требуя привилегий на том основании, что фамилия Ладранжей была с незапамятных времен дворянской, хотя невнимательные предки оставили свои права на титулы в пренебрежении? Я видел в префектуре ваши письма.

Ладранж позеленел.

– Ты видел мои письма? – спросил он задыхающимся голосом. – Где они?

– Я их сжег, потому что, попадись они кому другому, вы бы пропали!

– Хорошо, о, хорошо! Благодарю тебя, благодарю, Даниэль, ты добрый малый! – воскликнул старик восторженно. – Конечно, я мог бы объяснить очень просто попытку, которую меня принудили сделать, но все же есть такие злонамеренные люди... Но довольно, оставим это; а так как ты, я убеждаюсь все более и более, истинный мне друг, то я расскажу тебе, Даниэль, дело, сильно занимающее меня в настоящее время; но, – прибавил он, пугливо поглядев на толстую Петрониллу, постоянно сновавшую около них со своим вечным бормотанием. – Ты, конечно, предпочтешь пойти в мою комнату?

– К вашим услугам, дядюшка! – сказал Даниэль.

– Между тем, позвольте мне прежде поговорить с вами о причине моего приезда сюда, и тогда уж я буду более спокойно слушать ваши сообщения, я теперь приехал с фермы, где видел известных вам особ...

– А! Ты их видел? – повторил старик, лицо которого опять нахмурилось. – Ну, чего же они хотят?

Даниэль с жаром изложил опасность, которой подвергаются меревильские дамы, оставаясь доле на ферме у Бернарда, где они, несмотря ни на какое переодевание, всякую минуту рискуют быть узанными, и кончил свою речь горячей просьбой принять их теперь же в Брейльский замок. Услыхав это предложение, старый Ладранж даже вскочил со стула.

– Несчастный! – воскликнул он в исступлении, – погубить меня ты хочешь, что ли? Мало тебе того, что ты уже раз навязал мне этих проклятых барынь? Стану я рисковать быть сочтенным за их соучастника, я, хороший патриот, всей душой ненавидящий аристократов. Ну, живут они теперь на ферме, и прекрасно, пусть там и остаются, а чтоб принять их сюда! Ни за что никогда не соглашусь! Ни для какого черта! Ведь это все равно, что свою голову самому на плаху нести.

– Для вас нет никакой разницы, что они на ферме, что они у вас, под вашим покровительством, и если их откроют, там ли, здесь ли, вы одинаково будете скомпрометированы.

– Ты прав, я не подумал об этом. Сейчас же предпишу Бернарду как можно скорее их спровадить, а если не послушается, то... Нет, он их отправит, или я его самого выгоню! Не хочу я, черт возьми, из-за этих шлюх сам быть в подозрении.

– Дядюшка! Умоляю вас, обдумайте хорошенько, что вы говорите! Да ведь это была бы подлость, на которую, я убежден, вы не способны: отказать в поддержке, отнять у родной несчастной сестры ее последнее убежище! Нет, серьезно обдумав, вы не можете остановиться на этом проекте.

– А между тем, остановился и иду сейчас же исполнить его, – сказал Ладранж, решительно вставая. – Петронилла! подай мне мою палку! надобно пойти мне на ферму!

– Милостивый государь! – запальчиво вскрикнул молодой человек, выведенный из себя, – прошу вас прекратить эту ужасную шутку; быть не может, чтоб вы серьезно собирались сделать подобную низость, но уж если вы на это способны, то объявляю вам, что я, со своей стороны, не оставляю вашу сестру и ее дочь, я буду покровительствовать им, буду везде за ними следовать, рискуя тем погубить себя вместе с ними. Конечно, ни моя, ни их смерть не слишком сильно огорчат вас, но мои услуги могли бы вам еще пригодиться. Три раза уж доносили на вас и чуть не арестовали, три раза я отвращал удар... Конечно, дурно с моей стороны, что я напоминаю вам об этом, но вы вынудили меня.

Ладранж был между двух огней.

– Я тебе верю, – наконец заговорил он, – это уж должно быть правда, если ты говоришь... но послушай, Даниэль, дитя мое, я не вижу тут никакой для тебя причины так жертвовать собой, можно быть добрым родственником, но когда уж дело идет о своей голове... Но ты не сделаешь всего, что тут наговорил, ручаюсь, что не сделаешь.

– Я это сделаю, дядюшка! Это так же верно, как то, что над нами есть небо.

Торжественность этого подтверждения ужаснула старика, он с минуту подумал.

– Хорошо, – начал он опять, – уж если ты непременно этого хочешь, я предоставлю Бернарду полную свободу действовать, как он хочет, в отношении этих дам: он может оставлять их у себя, если ему это вздумается, что же касается до того, чтобы принять и поселить их здесь у себя, никогда на это не соглашусь, пусть хоть на куски меня режут... Не правда ли, Петронилла, что нам нельзя принять к себе аристократок?

– Господи! – зашипела опять экономка, – да если б у нас на это духу стало, так я бы тут все кверху дном поставила... Принцессы, которые все перевернут... Там на ферме только теперь у всех и занятий, что об их кушаньях хлопотать, то цыпят, то яиц... одним словом, разоренье!

– Можно было бы устроиться так, что присутствие этих дам в замке не вводило бы вас в излишние издержки, – поспешил воспользоваться случаем и сказать, кстати, для успокоения дяди, – я бы обязался платить за них.

– Полно, – перебил его сухо Ладранж, – не будем более говорить об этом; я, конечно, человек бедный и от платы не отказался бы, но... покончим с этим! Из уважения моего к тебе я соглашаюсь еще оставить на ферме этих глупых созданий, ну их к Богу! Но не проси же у меня ничего более, или ты меня с ума сведешь.

Всякое настояние, ввиду страха за свою личную безопасность, так овладевшего стариком, становилось бесполезно; между тем Даниэль все-таки хотел еще попробовать некоторые доводы.

– Довольно, довольно! – снова перебил его Ладранж нетерпеливо. – Я сказал, ни слова более, или мы поссоримся... Лучше иди за мной, – продолжал он, вставая и таинственно подмигивая, – в моей комнате нам свободнее будет говорить о серьезном деле, – и он взял Даниэля за РУКУ.

– Ай, ай! – закричала своенравная Петронилла на своего барина. – Это мне-то нынче вы ничего не доверяете, пора, пора мне начать прятаться! Как будто я еще не знаю всех ваших секретов!.. Знаю, сударь, даже место, куда вы деньги свои прячете.

– Молчать, животное! – крикнул на нее с угрозой Ладранж. – Что ты, с ума сошла?

Потом, обернувшись к Даниэлю, прибавил:

– Не слушай ее! Какие у меня деньги? Я разорен, как и все другие; аренд мне не платят, а налоги душат... Но эта женщина такая сварливая! Что делать, милый мой, – продолжал он уже со снисходительной улыбкой, – много приходится прощать старым слугам. Правда, я сам допустил Петрониллу присвоить себе много воли в доме, а теперь уже и поздно ее исправлять.

И, говоря таким образом, он ввел племянника в смежную комнату, тщательно затворив за собой дверь.

V. Признание

Спальня старика Ладранжа представляла собой тот же беспорядок или, лучше сказать, такое же собрание никуда негодной безногой мебели, как и первая комната. Хозяин даже усадил Даниэля на сафьянное, лоснящееся от жира и грязи кресло и, садясь, в свою очередь, начал шепотом:

– Вообрази себе, мой друг, эта дура Петронилла забрала себе в голову быть моей наследницей; чтоб она оставила меня в покое, я не отнимаю у нее этой надежды, а потому малейшая таинственность ее уже и беспокоит; но ты понимаешь, что тут подумаешь не один раз, прежде чем дать ей что-нибудь кроме приличной пенсии.

– Дядюшка, в подобных вещах у вас один только может быть советник, по моему мнению, это – ваша собственная совесть, но позвольте мне напомнить вам, что я тороплюсь.

– Ну хорошо, хорошо, к делу! Ты увидишь, что оно стоит труда, чтоб поговорить о нем. – И он провел рукой по лбу, изрезанному морщинами, и, казалось, соображал. – Право, милый мой Даниэль, велико должно быть мое уважение к тебе, чтобы заставить меня сообщить подобную важную весть. Ты так еще молод, что я долго не решался открыть тебе свою тайну, но наконец, считая тебя осторожным, некорыстолюбивым, добрым патриотом, я хочу довериться тебе, тем более, что, говоря откровенно, мне выбирать не из кого...

И старик злобно улыбнулся, а Даниэля так и жгло нетерпение, от этих вступлений.

– Ты знаешь, – продолжал Ладранж, – а, может быть, и не знаешь, что в молодости у меня были кое-какие шалости, как у всякого другого, хотя я и хотел навсегда остаться холостым, но из этого еще не следовало, чтоб жил я суровым анахоретом, а потому то тут, то там я позволял себе развлечения; шалости эти никогда не переходили, конечно, известных границ, отец мой, первый судья из нашей фамилии, был чрезвычайно строг насчет нравственности, но кроме него, я тоже тщательно старался скрывать это и от твоего отца, Даниэль, да и от моей сестры, этой бывшей маркизы. С другой стороны, я всегда был очень расчетлив, а вследствие этого всегда старался так устраивать свои делишки, чтоб глупости мои не обходились мне дорого. В этих случаях вообще следует более всего избегать расточительности и скандала, помни это, Даниэль, ты еще так молод и, вступив в зрелый возраст, останешься благодарен мне за мой совет.

Правила эти были высказаны таким степенным самоуверенным тоном, как будто Ладранж проповедовал самую безупречную мораль. Даниэль сделал незаметное движение. Дядя продолжал:

– Поэтому, мой друг, ты не удивишься, если я тебе скажу, что в один прекрасный день, двадцать пять лет тому назад, я очутился отцом здорового, крепкого ребенка, который расположен был жить. О матери его я ничего не скажу тебе, разве только то, что ее нельзя было ставить образцом ни невинности, ни красоты, никаких добродетелей, а потому я и не гнался за нею более, чем она за мною. Заставив меня дать ей клятву, что я не брошу этого ребенка, она ушла от меня; с этих пор я не имел о ней никаких сведений и не знаю, что с ней случилось.

Вначале я намеревался свято исполнить данное мною ей слово, а потому отдал мальчика к кормилице в одно хорошее семейство из окрестностей Манса. Из-за предосторожности я не лично вел переговоры с этими людьми, так что и они не знают, кто отец их питомца.

Каждые три месяца через старого служителя нашего семейства я получал известия о ребенке и тем же путем посылал должную за его воспитание сумму денег. Так шло дело пять или шесть лет; я предупредил фермеров, чтобы они воспитывали моего сына, как бы то был их собственный и чтобы они его приучали к сельским работам. Мальчишка, как мне о нем доносили порой, отлично свыкся с этим существованием и давал надежду, что из него выйдет со временем сильный, смелый, хороший работник.

Удовлетворившись этим результатом, я стал, краснея сознаюсь тебе в этом, менее заниматься судьбой бедного существа, мало-помалу я перестал отвечать на получаемые мною оттуда письма, перестал высылать деньги и, наконец, кончил тем, что перестал совершенно думать о нем и прервал всякие сношения с его воспитателями.

Я угадываю, Даниэль, твою мысль; ты философ, и ты слишком усвоил себе нынешние идеи, чтобы видеть для чувства родительского большую разницу между детьми законными и незаконными, а вследствие этого ты жестоко осуждаешь мое поведение. Но что ж ты хочешь? Тогда строй мыслей был у меня совсем другой, может, даже мне казалось и тяжеловато исполнение обязательства, так необдуманно мною принятого, а потому я до такой степени положительно забыл об этой шалости своей молодости, что, уверяю тебя, в продолжение нескольких лет даже ни разу не вспомнил, что у меня есть сын. Но вот только с некоторого времени, с тех пор, как одиноко живу в этом старом доме, особенно с того времени, как революция освободила нас от старых предрассудков, я стал часто вспоминать об этом покинутом мною ребенке; я стыжусь своего прошлого поведения, совесть упрекает меня, и чем более думаю о настоящем положении своего сына, тем строже виню себя, так что желание поправить свои ошибки постоянно преследует меня. Наконец, что ж мне еще тебе сказать? Я теперь намерен во что бы то ни стало отыскать этого несчастного ребенка, чтоб усыновить его и оставить ему свое состояние.

На этот раз Даниэль не мог удержаться от горячего изъявления своего восторга.

– Хорошо, дядюшка! Прекрасно! Вот чувства, делающие вам честь! Поправить все это хотя, может быть, уже и поздно, но все же справедливость требует попробовать употребить все средства на эту попытку. Если вам понадобится мое содействие, сделайте милость, располагайте мной; я не остановлюсь ни перед чем для ускорения исполнения вашего замысла.

Маленькие глазки Ладранжа заблестели от радости.

– Я не ошибся, рассчитывая на тебя, Даниэль, – произнес он дружески. – Ты предлагаешь мне именно то, о чем я хотел просить тебя. Впрочем, надобно тебе сказать, мой друг, что ты не много потеряешь, если мы найдем моего сына; в своем духовном завещании я назначил и тебе достаточную часть, а так как ты в своих привычках и вкусах очень скромн, а своими талантами и умом дойдешь непременно до высокого положения...

– Пожалуйста, дядюшка, не будем говорить обо мне, все, что вы сделаете, будет прекрасно и справедливо. Лучше укажите мне скорее на способ, которым мы могли бы побыстрее найти вашего сына. Конечно, ведь вам хочется поскорее вывести его из того положения, в которое ввергло его ваше невнимание!

– Да, да, я очень спешу, но это не только в его интересах, а тоже и в моих собственных: ты сейчас мне сказал, Даниэль, что уже несколько раз на меня доносили, как на аристократа, и что только благодаря твоему вмешательству я не был арестован, несмотря на мой вид от революционного правительства, следовательно, мне не должно терять времени, чтобы оградить себя от всяких подозрений. И так как я уже тебе говорил, ребенок, о котором у нас идет речь, был помещен мной к бедным поселянам и с шестилетнего возраста ничего от меня не получал, то мы можем предположить, что, вынужденный сам зарабатывать себе хлеб насущный, он сделался здоровым работником, вероятно, малограмотным, но, может быть, зато услужливым, честным человеком. Итак, когда узнают, что этот мужик, этот трудолюбивый работник сын человека, которого все предполагают богатым, с хорошим положением в свете, и что этот человек не только не краснеет признавать своим сыном мужика, но даже хочет утвердить за ним свое имя и состояние, не правда ли, что эта весть должна произвести благоприятное впечатление в народном собрании здешнего округа? Не будет ли то верный способ, так сказать, одемократить нашу фамилию, которая, несмотря на наши с тобой, Даниэль, усилия, все еще слывет за немного аристократическую. Наконец, не буду ли я тогда в глазах всех хорошим гражданином, другом человечества, добродетельным философом, на которого никакое подозрение пасть не может?

Эгоистический этот расчет охладил восторг Даниэля. У молодого человека далеко не было того равнодушия к общественному уважению, которым издавна пользовалось их семейство в стране, как у старого Ладранжа, а потому ему было больно видеть это желание унижить носимую им фамилию. Между тем он спокойно отвечал:

– Ваши соображения, дядюшка, может быть, весьма разумны и подобный поступок, действительно, должен вас возвысить в мнении честных людей; но что же мешает вам теперь же начинать эти розыски?

– Они уже давно начаты, милый мой, но, к несчастью, до сих пор оставались без всякого удовлетворительного результата. Ферма, где воспитывался мой сын, выгорела лет пятнадцать или шестнадцать тому назад, и по этому случаю фермеры, оставив страну, переселились в Фромансо д'Анжу. Наведывался я и в Фромансо; но в этой деревне из этой семьи осталась одна старуха, да и та идиотка, от которой ничего нельзя добиться. В наши смутные времена неудобно собирать-то эти сведения; надобно бы было самому ехать в Анжу, да боишься дом оставить и повстречать что-нибудь недоброе, впрочем, чтоб тут успеть, надобно быть моложе, деятельнее меня.

– Понимаю, дядюшка, ваш намек! Следовательно, я приму на себя все эти розыски; по своему положению чиновника сыскной полиции я напишу к мэрам некоторых участков, где можно предположить, что ваш сын жил ребенком. Если же ответы окажутся неудовлетворительными, я отправлюсь сам в эти провинции, называвшиеся Майн и Анжу, и будьте покойны, ничего не упущу, чтоб поскорее осуществить вашу мечту; теперь же я вас попрошу дать мне все документы, по которым я мог бы действовать.

Старик отпер прогнивший, но еще крепко стоящий письменный стол и вытащил оттуда несколько пожелтевших, залежавшихся бумаг и из них выбрал лоскуток, исписанный крупным почерком.

– Вот оно! – проговорил он, надевая на нос очки в роговой оправе. – Мать ребенка звали Катерина Готье, портниха в Шартре. Звания она была, как видим, не очень высокого; но я желал бы, чтоб оно было и еще менее значительно, тем сильнее произвело бы это впечатление в публике. Ребенок был крещен в церкви святого Петра в Шартре двенадцатого мая тысяча семьсот шестьдесят восьмого года под именем Жана-Франциско-Готье и отдан на попечение Гаспару Ланжевин и жене его Жозефине Ланжевин, жителям селения Лагравьер. Люди эти оставили Лагравьер около семьдесят восьмого года, переселясь в Фромансо в департаменте Майн и Луар, где, как я тебе уже говорил, из всего их семейства осталась одна старуха, впадшая в детство.

Но мне кажется, что я уже мало ценю твою сметливость, так как этих сведений с тебя, по моему мнению, достаточно, чтобы поставить тебя на путь.

– И я тоже надеюсь, дядюшка. Дайте мне эту бумагу и положите на меня.

– Возьми ее, у меня есть копия; да, впрочем, у меня и память превосходная. Не правда ли, Даниэль, – продолжал старик, радостно потирая руки, – что мой поступок возбудит всеобщее удивление, тогда-то уж, надеюсь, не посмеют меня считать аристократом?

– Хотелось бы мне, дядюшка, чтобы другие причины были в вас двигателями на подобный поступок, – сказал Даниэль со вздохом, – но все равно, я сдержу свое слово, только позвольте мне к вам обратиться еще с одним вопросом и просьбой.

– Говори, мой милый, я тебя слушаю.

– Есть вещи, о которых чрезвычайно трудно говорить, – начал молодой человек с замешательством, – и поверьте, дядюшка, что без крайности... Дядюшка, подумали ли вы, отдавая все свое состояние этому неизвестному еще сыну, что благодеяния ваши необходимы еще и другим из вашего родства?

Ладранж скорчил нечто похожее на улыбку.

– Я тебе уже сказал, что касательно тебя...

– Боже сохрани, чтоб я имел низость просить себе! Я говорю об особах, ближе вам приходящихся, чем я, хочу говорить о госпоже де Меревиль, сестре вашей, и ее дочери. Со смерти бывшего маркиза имения их захвачены и секвестрированы. Что ж, если вдруг велят их продать! Обе они, ваши ближайшие родственницы, останутся нищими. Дядюшка, умоляю вас, уделите им хоть частицу вашего состояния, которое, ведь я знаю, очень велико!

– Неправда! – горячо перебил его Ладранж, – я беден или, по крайней мере, не имею ничего более как самого скромного достатка... Но, черт возьми! мое наследство уже оспаривают, а между тем ноги еще крепко меня носят и глаза хорошо видят, так что я предполагаю, что моим наследникам, кто бы они там ни были, придется еще долго ждать! Удивительного ничего не будет, если эти франтихи с фермы отправились бы ранее меня... уж и без того их положение-то не особенно привлекательно, и если б кому да вздумалось бы донести на них... Но послушай, Даниэль, – начал он другим совсем тоном, – я не хочу, однако, казаться тебе хуже того, чем я есть, а потому скажу тебе, что я уже подумал и упомянул в своей духовной об этих именитых и могущественных барынях; но прежде чем об этом продолжать, я хочу, в свою очередь, тебе задать один вопрос, на который попрошу ответить мне с полной откровенностью... Ну! – положи руку на сердце! – нет ли между вами с Марией, бывшей де Меревиль, какой-нибудь любвишки?

Даниэль опустил голову.

– Говори откровенно, неужели ты любишь эту девочку и любим ею?

– Дядюшка, я не смею уверять, чтобы наше обоюдное расположение с детства...

– Было бы не что иное, как обыкновенная дружба между двоюродными, не так ли? А это, между тем, случается; полно, не бойся, вспомни, что ведь и я был молод!

– Право, дядюшка! вы спрашиваете у меня более, чем я сам знаю. Мария находится в полной зависимости у своей матери, а госпожа де Меревиль оказывает мне столько же презрения, сколько и ненависти...

– Что ты потерял всякую надежду сохранять долее хорошие отношения с матерью и дочкой, и прекрасно, милый мой, в таком случае ты узнаешь мои самые сокровенные и задушевные планы. До сих пор я боялся, как бы близость ваших отношений с этой девочкой не породила пылкой любви между вами, как это часто случается, но так как я ошибся, то слушай меня далее... Не правда ли, ты согласишься со мной, что настало время слияния дворянского имени с прочими классами и что было бы сумасшествием ожидать, что титулы и различие сословий войдут опять в прежнюю силу, а потому я и постарался одемократить нашу фамилию, как тебе сейчас говорил, и достигну, может быть, этого, заявив себя в то же время и хорошим родственником в отношении этих гордячек.

В моем посмертном духовном завещании, написанном уже мной, я назначил значительную часть моей племяннице мадемуазель де Меревиль с условием, чтоб она вышла замуж за моего сына Жана-Франциско Готье. Если же Готье не найдется, если он женат, если, наконец, он сам откажется жениться на моей племяннице, тогда Мария тотчас же может вступить во владение своей частью наследства; если же, напротив, мой сын будет не прочь от этого брака, но она не согласится, в таком случае она ничего не получает; ты понимаешь причины, побуждающие меня делать все эти условия? Если молодая девушка согласится выйти за моего сына, это будет доказательством, что она не разделяет нелепых предрассудков рождения, следовательно, окажется достойной моих благодеяний, в противном же случае я не хочу того, чтобы ей что бы то ни было досталось от такого патриота, как я.

Даниэль молчал, только страшно побледнел.

– Дядюшка! – наконец заговорил он взволнованным голосом, – вероятно, я вас худо понял, не может быть, чтоб вам действительно мог прийти в голову подобный чудовищный союз, как это вменить подобным образом в обязанность молодой девушке, прекрасно образованной, привыкшей с колыбели к роскоши, ко всему изящному, выйти замуж за грубого

невежду мужика, может быть, с диким нравом! Не верный ли это способ устроить несчастье обоим? Наконец, можете ли вы поручиться, что этот оставленный вами сын, этот заброшенный вами ребенок не сделался чем-нибудь хуже простого, но честного мужика? Предоставленный самому себе, без образования, без руководителя в таких молодых годах, разве он не мог уклониться с прямого пути? Знаю хорошо, что огорчаю вас, дядюшка, этими предположениями, но с моей стороны справедливость требует указать вам на эти случайности. Ради Бога, откажитесь от этого проекта, верьте мне: он может иметь гибельные последствия, он может сделаться неисчерпаемым источником несчастий для людей, о счастье которых вы хлопочете.

Старик проницательно глядел в глаза молодому человеку.

– Ты меня обманул, Даниэль, – сердито, наконец, проговорил он, – ты любишь свою кузину!

– Не беспокойтесь обо мне, посмотрите лучше, взгляните внимательнее в суть этого дела и скажите мне, не прав ли я?

– Я не спору, действительно, может случиться... Но еще раз, Даниэль, ты любишь свою кузину, теперь я убежден в этом.

– Ну что ж? Да, дядюшка! – ответил молодой человек, опустив голову и вдруг залившись слезами. – Теперь я сам вижу, что напрасно старался скрывать это от самого себя. Когда вы высказали желание свое, чтоб Мария вышла за вашего сына, я почувствовал, будто у меня что-то оборвалось в сердце, действительно я люблю ее, несмотря на все препятствия, существующие между нами, несмотря на все отвращение, которое легко, может быть, и она разделит рано или поздно... Да, я люблю ее и не переживу, кажется, горя увидеть ее принадлежащей другому!

Ладранж, видимо, был сильно озадачен и, конечно, уже начал сожалеть о своей откровенности.

– Черт возьми! Ведь я и поверил, что тебе не остается никакой больше надежды... Но послушай, дитя мое, успокойся, все это легко поправить; если это распоряжение тебя огорчает так, я придумаю что-нибудь другое, более для тебя подходящее, потому что и тебя тоже я должен чем-нибудь наградить и за сделанные уже тобой услуги, и за те, которые ты обещаешь мне сделать. Итак, я разорву эту духовную и устрою дела более удовлетворительным для тебя образом; ну, ну, уж обещаю тебе, что ты будешь мною доволен, но, в свою очередь, обещаешь ли ты мне ничего не упустить из виду, чтобы помочь мне разыскать сына?

– Можете ли вы в этом сомневаться, дядюшка? Если бы вы даже и оставили это тяжелое для меня условие, то и тогда даже, ручаюсь вам, не отступлюсь от того, что считаю с сегодняшнего дня своей святой обязанностью.

– И прекрасно, мой милый! А я с сегодняшнего дня займусь составлением другой духовной. Старая, будь покоен, будет брошена в печь.

– За чем же дело стало, дядюшка? Отчего не сделать вам этого теперь же? Пока я буду знать, что эта ужасная духовная существует, я буду в постоянном страхе. Без сомнения, ведь она у вас здесь же, с другими бумагами, разорвите ее теперь же при мне, дядя, этим бы вы меня успокоили и утешили так, что я остался бы вам благодарен на всю остальную жизнь.

– Шш! Мой любезнейший! Как вы торопитесь, – заметил старик ядовито. – Я думаю, что еще успею; можно подумать, что завтра мне умирать, а по всей вероятности, этой духовной еще придется полежать несколько лет, и я буду иметь время переписать ее, как мне вздумается. К тому же мне еще следует посоветоваться с нотариусом Лафоре, у которого хранится дубликат этой бумаги; но, Даниэль, – продолжал он, опять смягчив тон, – имей, терпение, мой друг, и положишься на меня, говорю тебе, все устроится!

– Достаточно, дядюшка! Извините, если, может, я слишком настаивал на этом тяжелом предмете... однако уж поздно, – проговорил Даниэль, вставая, – а мне хочется пораньше приехать в город; итак, я еду, а с завтрашнего дня надеюсь заняться вашим поручением, но взамен этого, дядюшка, не сделаете ли вы чего для наших бедных родственников?

– Не говори мне более о них, Даниэль, – прервал его Ладранж решительным тоном. – Я не хочу более рисковать своей головой из-за этих проклятых аристократок, повторяю тебе это еще раз. Ты поступай с ними, как знаешь, я же компрометировать себя не буду и слушать более о них не хочу, или, черт возьми, прикажу Бернарду их выгнать, и пусть там как хотят!

И с этими словами они вышли в соседнюю комнату, и быстро отворенная дверь открыла Петрониллу, глядевшую на них, как казалось, в замочную скважину, но ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Разговаривая между собой они вышли на двор, а старая мегера осталась, бормоча:

– Ах, лгун, ах, изменник! Так-то! Обещал мне, а теперь другим сделал духовную; ну ладно же! Поплатится же старый скряга за это, поплатится, и скоро! Хоть бы пришлось для того представить его аристократом, а уж не прощу!

VI. Греле

Солнце начинало закатываться, и природа как бы смолкла, когда Даниэль пустился рысью на ферму. Голоса птиц умолкали один за другим, только слышалось пение соловья, становившееся, казалось, еще звучнее от царствующей кругом тишины. Тени сгущались под старыми дубами, хотя огненные языки с запада то тут, то там пронизывали их густую листву.

Вспомнив, что ему нельзя долго оставаться у Бернарда, чтобы приехать в город ранее полуночи, Даниэль стал понукать свою клячу, как вдруг увидел у дороги спящую Греле со своим ребенком. Узнав путешественника, она торопливо встала, и лицо ее, обезображенное оспой, тут просияло от удовольствия. Выждав минуту, когда Даниэль проезжал мимо нее, она ему низко поклонилась, а ребенок, которому она уже успела шепнуть что-то, послал ему воздушный поцелуй своей крошечной ручкой.

Мировой судья ответил обоим ласковой улыбкой.

– Ну, милая моя, – сказал он, приостановя свою лошадь, – вам, я вижу, лучше? Я на минуту остановлюсь тут, у Брейльского хозяина, и оставлю ему для вас немного денег.

– Как, мой добрый господин, добропочтенный гражданин, хочу я сказать, неужели вы вернетесь ночевать в замок?

В голосе несчастной звучало так много тревоги, что Даниэль разом осадил свою лошадь.

– К чему этот вопрос? – спросил он.

– Да так, гражданин, – ответила нищая в замешательстве. – Этого гражданина, хозяина замка, считают таким жестоким и злым, что хорошим людям следует опасаться ночевать у такого скряги и богатого...

– Что за вздор вы мне, милая, тут городите? Разве вы не знаете, что хозяин Брейльского замка мне родня? Впрочем, успокойтесь, сегодня уж я более не вернусь в замок.

– В таком случае вы, верно, ночуете на ферме?

Настойчивость нищей возбудила подозрения в Даниэле.

– Вам-то что? – сказал он.

– Да, да, останьтесь, пожалуйста, у Бернарда, – продолжала Греле в волнении. – Вас все знают за важного чиновника, может, они и побоятся вас, не посмеют... Я же ничего не могу, я одна, совершенно одна... О, Господи! как ты меня наказываешь!

И она залилась слезами. Даниэлю пришло в голову, что несчастная помешана.

– Однако послушайте, добрая женщина! – начал он нетерпеливо. – Говорите, пожалуйста, яснее! Опасность, что ли, какая угрожает ферме и замку?

– Не знаю... но хорошо бы было принять некоторые меры предосторожности. Ах, если бы вы могли успеть привести помощь!

– Зачем помощь? Кому она нужна?

– Я не могу этого сказать... А между тем на Брейльской ферме видели прячущихся аристократок.

Слова эти окончательно встревожили Даниэля.

– Аристократок! – вскрикнул он, нарочно будто бы сердясь. – Подумайте лучше, что вы говорите? Откуда возьмутся аристократки у Бернарда? Что вы, милая, бредите наяву или не в своем уме?

– Желала бы, сударь, я быть помешанной, – ответила Греле растерянно, – да, бывают минуты, когда бы я благодарила Создателя, если б он отнял у меня рассудок, память... но время не терпит... Поторопитесь же, гражданин, предупредить жителей фермы, и в замке тоже, чтоб они были осторожнее, и скажите им...

– Греле! – крикнул позади нее пронзительный голос. Нищая вздрогнула и обернулась. Борн де Жуи вышел из кустов в десяти шагах от нее.

Увидя его, Греле, сделав таинственный знак Даниэлю и взяв ребенка на руки, торопливо пошла к Борну, и оба пошли в лес. Видя даже издалека их оживленные жесты можно было предположить, что они спорили.

Даниэль остался сильно встревоженным. Он никак не мог придумать, на какую опасность намекала нищая; но что его поражало, так это то, что присутствие меревильских дам на ферме открыто, и одно это обстоятельство было уже слишком важно. Несколько минут спустя он был уже на ферме. Бернард находился в поле, и Даниэль, отдав свою лошадь работнику и поручив ему хорошенько накормить ее, вошел в общий зал, где нашел только одну госпожу Бернард, погруженную в глубокую задумчивость до такой степени, что она не слыхала даже вопроса Даниэля, можно ли ему видеть родственников своих, и только его повторенный вопрос как будто разбудил бедную женщину, она быстро вскочила и торопливо проговорила:

– Дамы... это меревильских дам вы спрашиваете, да, да, они там, в своей комнате... войдите; я полагаю, что можно войти.

Во всякое другое время Даниэль не оставил бы без расспросов госпожу Бернард о причине такой сильной задумчивости, но теперь, слишком сам взволнованный, он только поторопился воспользоваться данным позволением.

Госпожа де Меревиль и Мария были одни. Мать что-то сердито говорила вполголоса, дочь слушала с наклоненной головой и красными от слез глазами.

Увидя племянника, маркиза не могла удержаться от движения досады, Мария же слегка покраснела.

– А! Опять гражданин Даниэль, – сказала первая иронически. – Мы уже не смели более надеяться увидеть вас сегодня. Итак? Расскажите же поскорее, как удалось вам исполнить свое предприятие? Согласился, наконец, почтенный братец принять нас в свою досточтимую обитель?

– К несчастью, маркиза, мои просьбы были безуспешны.

– Видите ли? – сказала маркиза, нисколько не удивясь. – А между тем, я уверена, что вы говорили с ним, с этим прекрасным патриотом, его языком. Благодарю вас за ваше беспокойство, гражданин Даниэль! Но уж если любезный родственник отказывается принять нас к себе, нечего делать, надобно оставаться там, где мы теперь.

– К несчастью, маркиза, и здесь, на ферме, вам нельзя долее оставаться ввиду явной опасности для мадемуазель Марии и для вас! Вы узнаны. Сейчас я встретил личность, кажущуюся мне очень подозрительной, и которая говорила мне о вас, как об аристократках; следовательно, вам необходимо оставить Брейль и, если б вы согласились последовать моему совету, и если б, как в былые времена, положились, вверились бы мне...

– О, выслушайте же его, мама! – вскричала восторженно Мария. – Он лучше нас с вами знает, чего нам следует бояться и чего можно ожидать.

– Опять! – обернулась к ней маркиза со строгим взглядом и продолжала уже нетерпеливо: – К чему так беспокоиться о шпионах и доносчиках? Полной безопасности нет ни для кого! Разве гражданин Даниэль может предложить нам более верное убежище, чем Брейль?

– Не смею утверждать этого, маркиза, между тем, может, я и найду в городе, где живу и где пользуюсь некоторой властью, маленький спокойный домик, способный укрыть вас до более счастливых дней.

Маркиза, казалось, размышляла.

– Нет! – сказала она, наконец, сухо. – Это значило бы подвергаться вам самим опасности, а я ни великодушия, ни жертв ваших не желаю.

Водворилось тяжелое молчание. Вечерние сумерки становились все гуще и гуще, так что наконец три находившиеся тут лица едва могли различать один другого; вдруг в дверь сильно постучали, и на пороге показался Бернард.

Фермер был весь в поту, и по растерянному его виду следовало заключить, что он с дурными вестями.

– Простите, извините, сударыня, – проговорил он запыхавшимся голосом, – вхожу без позволения, но – теперь не до церемоний... Ах, вы еще здесь, господин Даниэль, – прибавил он, разглядев, наконец, впотьмах молодого человека, – тем лучше; уж вы наверное поможете нам выпутаться из беды... а я так ужасно боялся, не уехали ли вы уже в город?

– В чем же дело, Бернард?

– Признаться сказать, господин Даниэль, я очень боюсь, чтобы сегодня ночью не пришли арестовать наших бедных дам.

Мария инстинктивно подвинулась к матери, которая, в свою очередь, невольно вздрогнула.

– Говорите, Бернард, расскажите скорее, в чем дело? – проговорил Даниэль, не менее других перепуганный и не лучше владевший собою.

– Вот какое дело, сударь!.. Я пошел обойти вечером поля, захотелось пройтись, это глупое создание, моя жена, напустила мне в голову разного вздора, вот и нужно было рассеяться, что мне и удалось; я отогнал-таки от себя все эти горькие воспоминания, которые всегда готовы нахлынуть на тебя, как мало бы ни был человек расположен возиться с ними... Ну вот, сейчас, идя по тропинке через Вашпилуг, я заметил, что что-то шевелится на опушке Мандарского леса, тянувшегося от этого места вплоть до большой дороги. Думая, что это дровосеки пробираются к моим деревьям, я спрятался за забор, чтоб подкараулить их, и осторожно раздвинул ветви, знаете ли, господин Даниэль, что я увидел? Два жандарма тихо разговаривали между собой, указывая, между прочим, на Брейль.

– Жандармы! – повторил Даниэль. – Уверены ли вы, Бернард, что не ошиблись?

– Собственными глазами видел я, сударь, их мундиры, и было еще слишком светло, чтоб я мог ошибиться. Впрочем, их тут должно быть много, потому что несколько раз долетали до меня голоса и ржанье лошадей; я даже между ветвями видел тут другого человека, позади этих, и мне показалось, что на том был мундир национальной стражи, но в этом последнем не смею уверять. Но дело в том, что через несколько времени жандармов кто-то позвал и они скрылись в лесу, продолжая свой разговор и помахивая руками. Подождав еще немного и видя, что все скрылись, я поскорее позади кустарников пробрался домой. Дамы онемели от ужаса.

– Но что ж тут так особенно пугает вас, Бернард? – спросил Даниэль.

– Как это, господин Даниэль, при вашем положении и таком хорошем знакомстве с ходом общественных дел, вы не отгадываете, что все это значит? Это ясно, что жандармам соседних бригад приказано соединиться в Мандарском лесу, при наступлении ночи они окружают ферму и арестуют всех, кто только им покажется подозрительным, вам известно ведь, что это их манера действовать.

Даниэль ударил себя по лбу.

– Но ведь это невозможно! – со страхом заговорил он. – Агенты общественной безопасности не могут распорядиться таким образом без моего приказа, а я знаю наверное, что все эти дни я не подписывал ни одного подобного акта и сегодня утром уехал из города, значит, жандармы эти не могут быть исполнителями правительственных предписаний, разве только...

– Кончайте же!

– Разве только уже после моего отъезда явились новые распоряжения о моей отставке, ставящие меня самого вне закона.

Невольный стон вырвался из груди молодой девушки, и сама маркиза даже взволновалась.

– О, Даниэль! Вы, верно, ошибаетесь! – вскрикнула после первого движения Мария. – Оставьте нам хоть эту иллюзию.

Даниэль поблагодарил ее улыбкой.

– И я тоже надеюсь на это, но не будем заниматься мною, от какой бы власти ни был направлен удар, все же открытие Бернарда заслуживает большого внимания; опасность очевидна, вопрос теперь в том, как от нее избавиться? Маркиза, дорогая моя, бесценная тетушка, умоляю вас, не бойтесь, согласитесь последовать только что высказанному мной вам совету! Надобно сейчас же ехать со мной в город, я уверен, что с помощью Божьей мне удастся спасти вас и дорогую мою Марию; поторопитесь же с приготовлениями, каждая минута теперь дорога!

И не дождавшись ответа, он начал толковать с Бернардом о необходимых мерах предосторожности. Они условились таким образом, что в тележку, на которой ездит Бернард по рынкам и ярмаркам, запрягут пару лучших лошадей с фермы, и Бернард сам повезет дам вечером проселочными дорогами, подальше от леса, где спрятаны жандармы. Даниэль должен был ехать верхом позади них и таким образом, рассчитывая на темноту, можно будет достичь города без опасных встреч.

Казалось, это был лучший план, на котором только и можно было остановиться при данных обстоятельствах. Между тем маркиза не приняла его.

– Даниэль и вы, Бернард, подумайте хорошенько, к каким ужасным последствиям может привести вас самопожертвование, на которое вы решаетесь для нас! Если нас откроют, вы окажетесь виновными в той же степени, что и мы, за оказанное нам содействие... поэтому я не соглашаюсь, чтобы вы рисковали подобным образом, спрячьте нас где-нибудь в лесу, в щель скалы, одним словом, куда бы то ни было, пока не уедут жандармы, любое убежище для нас подойдет.

– Бернарду нечего бояться! – ответил молодой человек с не меньшей решимостью в голосе. – Ответственность за все падет на меня одного, мне же о себе хлопотать больше нечего, потому что, если моя власть еще существует, мне следует пользоваться ею, чтоб вас защитить, или же я сам лишен места по обвинению. Но тогда ничто не может уже более ухудшить моего положения; позвольте же мне, маркиза, следовать тут велению собственного сердца и пусть моя преданность, каковы бы ни были ее последствия, искупит в глазах ваших и Марии те вины, в которых вы так горько упрекаете меня.

Маркиза все еще не соглашалась, продолжая настаивать на своем проекте спрятаться где-нибудь в лесу, но наконец, доказав ей все затруднения, сопряженные с подобным поступком, Даниэлю удалось-таки убедить ее.

Одержав, таким образом, победу и попросив Бернарда как можно скорее запрягать лошадей, Даниэль собрался выйти из комнаты, чтобы оставить дам на свободе, уложить скорее свои скромные пожитки, как вдруг из соседней комнаты послышались вопли и рыдания. Фермер, тотчас же узнавший голос своей жены, торопливо отпер дверь, и все вышли за ним в первую комнату, слабо освещенную одной свечкой.

На соломенном стуле, бледная, почти без чувств сидела госпожа Бернард, на коленях перед нею стояла нищая, покрывая поцелуями и слезами ее руки; около них, тоже на коленях, плакал бедный ребенок, конечно, сам не зная, о чем, только потому, что видел мать плачущей; в нескольких шагах поодаль стояла с разинутым ртом и с недоумением глядевшая на эту грустную картину одна из служанок фермы.

Странная мысль сжала сердце Бернарда, между тем раздался грубый, как всегда, его голос.

– Да что же это, наконец? – кричал он, – чего тут ревут эти создания? Просто покоя в доме нет! Черт возьми, кажется, есть много дела кроме этих историй.

И, как всегда, звук этого страшного для нее голоса привел фермершу в себя. Наклонясь к нищей и зажав ей рот рукой, она бормотала:

– Замолчи, я тебе говорила, что он услышит, замолчи, умоляю тебя.

Но Греле, вне себя, не поняла этой мольбы и протянула к Брейльскому хозяину свои исхудалые руки.

– Батюшка! – вскрикнула она раздирающим душу голосом. – Простите меня и вы, как она уже простила меня... я бедная Фаншета, ваша дочь!

С бессмысленно блуждающим взором Бернард остановился как вкопанный, обиженная этим молчанием несчастная женщина, взяв на руки своего ребенка и тащась на коленях к отцу, продолжала прерывающимся от рыданий голосом:

– Прости, прости, батюшка! Я была виновата, но если бы вы знали, как много выстрадала я за свою ошибку. Вспомните только, что я была, и посмотрите, чем я стала теперь; моя молодость, моя красота, моя веселость, все, все пропало с того дня, как вы оттолкнули меня от себя; с этого времени я скитаюсь из страны в страну, выпрашивая себе кусок хлеба. Никогда я не посмела бы подойти вам, но уж если счастливый случай привел меня к месту, где вы живете, то сжальтесь, наконец, надо мною, не прогоняйте меня более, оставьте меня жить около вас и около матушки: я буду у вас служанкой, давайте мне самые тяжелые работы, я не буду жаловаться... только простите меня, батюшка! Если уж не для меня, то для этого бедного невинного ребенка; если б вы знали, что он уже выстрадал! И голод, и холод ему хорошо знакомы, мы часто с ним спим ночи под открытым небом, несмотря на грозу и бурю... Сжальтесь над ним, смотрите, как он похож на вас! Сейчас, когда вы держали его на руках, мне показалось, что Господь послал конец моим страданиям! Вы поцеловали, батюшка, моего ребенка, вы поцеловали его, я это видела, любите же его, умоляю вас, и ради него простите и меня. – И говоря это она хотела схватить руку Бернарда, но, угрюмо отодвинувшись, он все еще молчал, и, конечно, легко было отгадать, какие противоречивые чувства боролись в его душе.

Меревильские дамы, стоявшие на пороге своей комнаты, и Даниэль были глубоко тронуты, и маркиза сочла нужным вмешаться повелительным тоном, не покидавшим ее даже и в настоящем бедственном положении.

– Вы знаете, Бернард, что я не очень снисходительна к таким ошибкам, что сделала ваша дочь, но я нахожу, что наказания достаточно и пора, наконец, вам простить ее!

– Да, да, мой добрый Бернард, – прибавила тихим умоляющим голосом Мария, – она так несчастна!

– Послушайте, Бернард, – сказал, в свою очередь, Даниэль, – я никогда не оправдывал в вас вашей чрезмерной уж строгости в отношении к дочери; но до сих пор вы были под влиянием тех варварских предрассудков, не знаю уж как укоренившихся здесь, которые даже сама святая религия осуждает, теперь же представляется случай вам загладить вашу суровость; неужели вы упустите его? Будьте же отцом, мой друг! Дайте больше воли вашему сердцу, послушайте его.

Но все эти защитные речи и просьбы остались без малейшего ответа от фермера.

– Черт возьми, – наконец проговорил он, – ни богатые, ни знатные не заставят меня изменить себе в деле, касающемся меня одного: у всякого свой образ мыслей, и у меня свой! – потом взглянул на Фаншету, лежавшую у его ног. – Пошла вон! – проговорил он. – Ты бессовестная лгунья, я тебя не знаю, у меня нет дочери... была когда-то, но она умерла; я носил по ней траур два года. У меня нет больше дочери, ты лжешь, я тебя не знаю.

– Батюшка! – вскрикнула бедная женщина, ошибочно понявшая смысл его слов. – Возможно ли, чтоб вы действительно не узнали меня! Эта ужасная болезнь неужели до такой степени обезобразила меня? Я говорю вам, что я ваша Фаншета, ваше бедное дитя, которое вы так любили когда-то, которое всякий вечер, возвращаясь с работы, целовали в лоб.

– Я все это забыл; я прогнал от себя низкое существо, обесчестившее меня, и я в этом не раскаиваюсь и никогда не раскаивался... Я сделал бы это и опять...

– Не говори этого, Бернард, – горячо перебила его жена. – Несмотря на твою наружную суровость ты все еще любишь свою дочь, ты всегда любил ее, и тебе ли позабыть ее? О чем же плачешь ты тихонько по ночам, о чем думаешь? Ведь я все слышу; отчего ты уходишь из дома или делаешься грустным и угрюмым всякий раз, когда приходит к нам Жанета, родившаяся в

один день с Фаншетой? Чье это серебряное колечко ты постоянно носил в своем портфеле и с которым не расстанешься ни днем, ни ночью? Бернард! Не клевети на себя, ты любишь дочь; прости же ее, как уже я простила, и Бог наградит тебя!

Несколько раз изменился в лице Бернард, слушая речь жены, но все эти открытия, сделанные ею при стольких посторонних личностях, возбудили в нем только стыд и злобу. Бедная мать поняла свою ошибку даже прежде ответа мужа.

– Негодная баба, – вскричал фермер громовым голосом и топнув ногой, – эдак лгать, да еще и при чужих! За кого меня примут?.. Но, тысяча чертей! Пусть же все знают, господин ли я... Ты, нищая, сию же минуту убирайся вон от меня; ты лгунья, я тебя не знаю и не хочу знать... Ну! и скорее, потому что здесь и без тебя много дела.

– Батюшка, простите! – проговорила растерянная Фаншета.

– Тебе ль говорят, убирайся отсюда! Если бы ты и в самом деле была то, что ты говоришь, так и тогда ты принесла бы несчастье моему дому...

Несмотря на весь свой страх, фермерша еще раз не могла удержаться, чтоб не вмешаться.

– Бернард, Бернард, – проговорила она, – позволь ей, по крайней мере, хоть ночевать у тебя на сеновале, пристанище, в котором ты не отказываешь никому из нищих, приходящих к тебе.

– Пусть убирается! Погода теплая, заснет хорошо и под дубом где-нибудь, если только может спать. Ну, сказано! Значит, пусть убирается скорее, так как она марает собой дом всякого честного человека!

– Батюшка! по крайней мере, – продолжала все еще стоявшая на коленях Фаншета, – если уж пять лет унижений, страдания, нищеты не трогают вас, пусть будет по вашему желанию, я опять пойду скитаться, и вы не увидите меня более; но неужели не сжалитесь над этим бедным ребенком, которого вы сейчас ласкали, который так похож на вас и который уже любит вас! Ведь он не виноват в ошибках своей матери, зачем же ему страдать из-за нее? Умоляю вас, примите его, заботьтесь о нем, сделайте его честным, трудолюбивым человеком, как вы сами. Ведь не дорого стоит прокормить ребенка. У него такие хорошие способности, он будет радостью вашего дома, будет утешать матушку в моем отсутствии; умоляю вас, не оттолкните его!

Послушайте, батюшка! Если мальчик останется со мною и будет вести эту скитальческую жизнь, на которую я обречена, подрастая он будет подвергаться ужасным искушениям; а трудно остаться честным, когда бываешь голоден и холоден! Я не смею и не могу объяснить вам ничего более, но вы содрогнулись бы, если бы я сказала вам, какая будущность непременно его ожидает, и иначе быть не может. Спасите его от этого бедствия; он внук ваш, возьмите, любите его. Конечно, тяжело будет моему бедному сердцу расстаться с ним, но сознание, что я исполнила свою обязанность, устроила его счастье, поддержит меня, даст мне новую силу. Не думайте, батюшка, что потом я стала бы пользоваться его присутствием здесь, чтобы надоедать вам собою; нет, если только вы этого потребуете, я никогда больше не увижу его, я уйду подальше куда-нибудь от места, где вы оба будете жить. И он, и вы сможете считать меня умершей, вы не будете больше знать меня, вы не будете больше говорить обо мне. Возьмите же его, он ваш, я отдаю вам его; и, как ни строги были вы ко мне, я всю жизнь, ежедневно буду благословлять вас при мысли, что вы сделаете из него такого же честного, хорошего человека, как вы сами, даже и тогда, если и он, как вы, будет презирать меня.

Лицо Фаншеты, обыкновенно безобразное, теперь воодушевленное материнским чувством, было в эту минуту более чем красиво. Она подняла к лицу отца своего мальчика, а бедное создание, ничего не понимая, но узнав того, кто так недавно ласкал его и кормил, наивно улыбалось.

Фермер казался наполовину побежденным, он отворачивался в сторону, но глаза его так блестели, что можно было заподозрить в них слезы. Но опять фермерша, увлеченная своей непреодолимой нетерпеливостью, вторично испортила все дело.

– Бернард! Мой добрый Бернард! – вскрикнула она. – Скрывай как хочешь, но я вижу, ты плачешь! О, я уверена в тебе, ты возьмешь внука и простишь дочь!

Еще раз она этим все погубила. Глаза Бернарда мгновенно высохли.

– И что только тебе в голову лезет! – крикнул он на нее. – Я плачу? Да разве мужчины плачут! Иногда, правда, да и то от злости. Ну, однако, пора все это кончать, сегодня у нас много еще дел; надобно идти готовить телегу, сейчас еду в город, с господином Даниэлем и... другими особами. А ты, нищая, проваливай скорее вон и никогда больше сюда не показывайся, а не то тебе достанется; мальчишку твоего я тоже не хочу; подобного племени мне здесь не нужно, у меня не воспитательный дом, эдак тебе, пожалуй, и легко будет избавляться от своих ребят, пока там будешь гулять, а тут старый дурак корми их... Но этому не бывать! Черт возьми, ну, живей убирайся!

Этот жестокий приговор отца поразил всех присутствующих, каждый из них вскрикнул и захотел, в свою очередь, усовестить фермера в его бесчеловечности. Бернард все слушал со сжатыми кулаками и нахмутив брови, но когда голос молодой матери опять покрыл все другие, умоляя его о своем ребенке, он разразился страшным проклятьем.

– Уноси его! – кричал он в бешенстве. – Уноси его или, клянусь всем адом, раздавлю вас обоих, как червей!

– Батюшка, умоляю вас!

С пеной у рта, вне себя, с поднятым кулаком Бернард бросился на нее. Женщины вскрикнули. Даниэль схватил старика.

– Бедная Фаншета, убегайте скорее! – сказала маркиза, видя, как трудно Даниэлю справиться с сильным фермером. – А я еще думала, что этот человек такой добрый, тихий, он настоящий зверь.

– Да, да, беги скорее, дочка, – прибавила госпожа Бернард. – Он еще убьет тебя!

Остолбеневшая от страха за своего ребенка нищая не трогалась с места.

– Успокойтесь, батюшка, – бормотала она, – мы сейчас уйдем от вас, но прежде позвольте мне предупредить вас о деле, о котором я совсем забыла от радости, увидав матушку; сегодня ночью...

– Уйдешь ли ты? – крикнул опять Бернард, и отчаянным усилием старик вырвался из рук Даниэля. Фаншета не выдержала более.

– О, батюшка! – проговорила она задыхающимся голосом. – Дай Бог, чтоб вам не пришлось когда пожалеть о своей жестокости к внуку.

И с этими словами, прижав ребенка к груди, она убежала; и долго еще слышался голосок испуганного мальчика, даже когда не видно было более их обоих.

Даниэль, боясь чтобы фермер, дошедший до бешенства, не бросился бы за нею, встал между ним и выходной дверью, но опасения его оказались напрасными. Ожесточение старика мгновенно исчезло, как только скрылась дочь; почти упав на стул и закрыв лицо руками, он глубоко задумался.

Впечатление, произведенное на присутствующих этой тяжелой семейной сценой, было до такой степени тяжело, что Даниэль и меревильские дамы совершенно забыли об опасности собственного положения. После нескольких минут тяжелого молчания старик произнес все еще взволнованным, но твердым голосом:

– Ну! Чтобы никогда никто не напоминал мне более об этом деле! Если же только кто когда-нибудь позволит себе заикнуться... Но, барыни, мы теряем время, укладывайтесь же поскорее, а я пойду запрягать тележку; через десять минут нам надобно уже быть в дороге!

И он поспешно вышел.

Только по уходе его госпожа Бернард предалась своему отчаянию. Даниэлю, однако, удалось немного успокоить ее, сказав о скором отъезде Бернарда, так как обстоятельство это давало ей возможность еще раз увидеть Фаншету, по всей вероятности, не ушедшую еще

далеко, даже, может быть, оставить ее у себя на день или на два. Мервильские дамы поддерживали ее в этой надежде и, сунув ей в руку несколько ассигнаций для ее ребенка, скрылись в своей комнате.

Ночь, между тем, наступила; на дворе слышался топот скотины, возвратившейся с пастбища, и хлопоты работников и работниц, кончавших свои последние дневные занятия.

Пока Даниэль вполголоса говорил с фермершей, в комнату, как будто крадучись, вошел человек, то был Франциско разносчик. Его обыкновенная бледность еще ярче выявлялась под окровавленной повязкой, опоясывавшей ему лоб. По-видимому, он насилу шел, опираясь о свою суковатую палку. Узнав его, Даниэль подошел с участием, спросил, каково ему, полегче ли?

– Гораздо лучше, добрый гражданин, – ответил удивительно мягким и сладким голосом разносчик, – очень много благодарен вам и вот этой добрейшей гражданке. Но между тем я сильно боюсь, что не буду в состоянии завтра утром пуститься в дорогу со своей коробкой.

– Ну что ж. Вот, госпожа Бернард, в таком случае, согласится, по дружбе ко мне, оставить вас у себя на несколько дней, пока вы совсем оправитесь.

Фермерша знаком изъявила свое согласие.

– Бернард! – вполголоса повторил разносчик, как будто это имя поразило его, но, поняв тотчас же свою ошибку, он продолжал: – Нечего делать! Уж если Богу так угодно! А, между тем, моя бедная жена будет страх как беспокоиться, если завтра вечером я не приду в то место, где она меня ждет, что ж делать? Поневоле надобно покоряться тому, чего переменить нельзя. Если же мне придется оставаться здесь, то я не буду в тягость, я могу платить за себя, впрочем, вероятно, на ферме понадобится моего товару, у меня все есть, нитки, иголки, ленты, шнурки, платки носовые.

– Да, да, – перебила его госпожа Бернард, – потом увидим, сторгуемся, а теперь, мой друг, вам не худо бы было опять пойти на сеновал заснуть до завтрашнего утра, ничто так не освежает раны, как сон; не нужно ли вам чего еще отсюда?

Франциско спросил поесть, все прибавляя, что он за все заплатит. Фермерша отрезала ему огромный ломоть хлеба и кусок сыра, прибавив к этому бутылку вина, пожелала покойной ночи.

Поблагодарив ее, разносчик собирался уже выйти, как в комнату, беззаботно что-то напевая, вошел Борн де Жуи.

– Везде все тихо и спокойно, – сказал он, по-видимому, обращаясь к хозяйке, – кажется, все хлопочут об одном, чтоб идти спать поскорее, да не худо бы и нам об этом же подумать. Но, Господи помилуй, гражданка, кто это у вас едет в такую пору? Почему ваш муж запрягает тележку?

– А разве кто-нибудь уезжает? – вскричал Франциско.

– А вам, приятель, какое до этого дело? – ответил Даниэль.

– Да я думал, видите ли, моя бедная жена будет очень беспокоиться... так я хотел, если едут в город, дать поручение, может, даже не согласятся ли и меня взять с собой?

Даниэлю почему-то эти два человека казались подозрительными, и к тому же ему не хотелось, чтоб они видели меревильских дам, которые в это время должны были выйти из своей комнаты.

– Этого нельзя! – ответил он сухо. – Еду я, если вы желаете это знать, но еду не туда, куда вам нужно, и никаких поручений от вас принять не могу.

– Вы? – переспросил разносчик, – я думал, вы верхом.

– В экипаже покойнее, особенно если едешь с хорошеньким товарищем, не так ли, гражданин? – сказал Борн, хихикая.

Все эти расспросы выводили из себя Даниэля, но он сдерживался и ограничился только тем, что заметил своим собеседникам, что гражданину Бернарду, не отличающемуся терпе-

нием, может не понравиться, что они тут сидят и как будто подсматривают, что у него в доме делается, а потому он им советует еще раз отправляться на сеновал, где им следует ночевать; фермерша тоже подтвердила это приглашение, и так настоятельно, что приятелям ничего не оставалось, как уходить. А потому оба, наконец, и вышли, причем разносчик пожелал ей возможного счастья, а Борн де Жуи покойной ночи с какой-то зловещей улыбкой.

Даниэль пошел за ними. Чувство, в котором он не умел дать себе отчета, твердило ему, что следует опасаться этих двух личностей, а потому, проводив их до сеновала и впустив туда, он запер за ними дверь на ключ, повернув его в замке два раза.

– Может, они и честные люди, – сказал он, возвращаясь, фермерше, – но беды для них большой не будет, если они сегодня ночуют под замком, завтра утром вы им отоприте, они даже, может, и не заметят своего заключения, а осторожность никогда не бывает лишней.

Госпожа Бернард, которую эта мера предосторожности избавляла от непрошенных наблюдателей, осталась очень довольна.

– И как подумаешь, – шептала она, – что и бедная Фаншета моя должна была бы ночевать с этими бродягами... но, может, мне удастся и получше поместить ее, если только Бернард уедет... Господи, продли мне хоть на одну ночь твою милость, и я умру спокойно.

Тут вошли дамы со своими узелками. Даниэль взялся сам заботиться об их скромном багаже, и все хотели уже выходить во двор, как в комнату, запыхавшись, вбежал Бернард.

– Скорей, скорей, – кричал он в сильном волнении. – В аллее слышен уже лошадиный галоп и бряцанье сабель, поедомте... может, еще успеем.

– Да, да, садитесь, – вскрикнул Даниэль и схватил Марию, Бернард повел маркизу, не дав им времени даже проститься с хозяйкой. Но едва вышли они на двор, как лошадиный топот был уже совершенно явственно слышен.

– Уж поздно! – произнес Бернард. – Они менее чем в десяти шагах отсюда.

– Спасайте мою дочь, – проговорила маркиза.

– Нет, нет, Даниэль, умоляю вас, спасайте мою мать!

Даниэль не знал, что ему делать.

– Запирайте большие ворота! – наконец проговорил он Бернарду.

Захлопнув наскоро обе половины, фермер завалил их несколькими огромными деревянными брусками.

– Теперь побежим через сад! – предложил Даниэль, поддерживая обеих растерявшихся дам.

Но с первых же шагов им пришлось убедиться, что и этот путь у них уже отрезан, так как с этой стороны тоже слышался шум и говор, и видно было, что дом окружен со всех сторон. В это время в большие ворота раздалось несколько сильных ударов, и громкий голос, покрывший шум толпы, приглашал жителей фермы во имя закона впустить жандармов и национальную стражу, имеющих поручение убедиться, нет ли в доме эмигрантов и подозрительных лиц.

VII. Тяжелая ночь

Воззвание это столь же удивило, сколь и испугало Даниэля Ладранжа. Он не мог понять, каким образом могло собраться без его ведома такое количество жандармов, окруживших ферму. Он старался уяснить себе это непонятное происшествие, когда Бернард подошел к нему.

– Мы попались, как в сеть, – сказал он тихо, – нет никакой возможности бежать... Что же нам делать, господин Даниэль? Защищаться ли нам?

Всякое отступление со стороны сада было положительно невозможно; за забором виднелись галуном обложенные шляпы всадников, и даже в кустах живой изгороди слышался шум, как будто кто раздирал ветви, силясь пройти.

– Защищаться! – ответил Даниэль, качая головой. – Сохрани Бог! Их десятеро на каждого из нас, да к тому же всякая попытка сопротивления может быть пагубна для нас... Нет, нет, Бернард! Уводите дам, а также велите и своим людям выйти. Я же приму их здесь и удостоверюсь, все ли у них правильно; может, я еще найду в их предписании какую-нибудь ошибку и тогда воспользуюсь своим правом и не допущу их далее.

– Очень хорошо! господин Даниэль, вы, конечно, лучше нас знаете, как тут быть, но только идите скорее узнать, чего они хотят, они там начинают терять терпение!

И точно, удары ружейными прикладами уже расшатали ворота. Сказав дамам несколько успокоительных слов, Даниэль поспешил к воротам, не расслышав даже Марию, говорившую ему вполголоса.

– Ради Бога, кузен, будьте осторожны!

Чем больше думал он, тем сильнее утверждался в мысли, что осаждавшие Брейль действовали не в силу закона. В те времена нередко случалось видеть, что партизаны, а порой даже и разбойники переодевались в костюмы полицейских агентов, чтобы легче и безопаснее обдѣлывать свои мошеннические дела. Легко могло быть, что и эти люди принадлежали к одной из таких категорий и, как ни покажется это странным, но предположение это, во всякое другое время как громом поразило бы Даниэля, в настоящий момент его менее пугало, чем законное преследование.

Прежде чем начать переговоры с незнакомцами, Даниэлю захотелось хорошо разглядеть их, но, приложив глаз к щели, он увидел только сплошную массу, из которой ничто не выделялось. Вслед за этим, не обращая внимания на угрозы, поднимавшиеся снаружи, он взял из-под соседнего навеса лестницу, приставил ее к одной из стенок башенки, выстроенной над воротами фермы и взобрал по ней на крышу этого маленького здания.

Отсюда уж он мог хорошо разглядеть многочисленную силу, осаждавшую жилище Бернарда.

Кроме людей, рассыпанных около стен, тут было человек двенадцать жандармов на лошадях, в шинелях, обшитых галунами, и человек двадцать национальной стражи пешими. Вся толпа эта была вооружена саблями, ружьями и пистолетами, ярко блестящими при свете луны; полное отсутствие в ней дисциплины и беспорядок могли бы утвердить Даниэля в его предположении, но в те времена в рядах и национальной милиции часто являлись те же беспорядки, как и в мошеннических шайках.

За неимением более точных признаков молодой судья начал искать, не найдется ли тут знакомых ему лиц. Его служебная деятельность ставила его в соотношение со всеми офицерами и унтер-офицерами жандармскими во всем департаменте, а потому он надеялся найти в этой толпе, если то были жандармы, несколько раз уже виденные лица. К несчастью, большие шляпы и плащи скрывали их совершенно, притом они все страшно волновались, продолжая неистово кричать и стучать в дверь.

Немного поодаль от других стоял всадник, казавшийся начальником отряда, но все, что можно было заметить в его наружности, кроме шляпы и плаща, это то, что волосы его сзади были собраны и заплетены в косу по тогдашнему обычаю военных.

Далее под деревьями аллеи находилась женщина с ребенком на руках, и хотя была совершенно свободна, но страшно металась и стонала.

Даниэлю не много понадобилось времени, чтобы заметить все это, но чтобы уяснить себе окончательно настоящее значение осаждающих он, все еще стоя на своей крыше и выпрямясь во весь рост, громким, покрывшим общий шум голосом крикнул:

– Да здравствует нация!

В описываемое нами время крик этот служил признаком единства для друзей правления, а потому жандармы, едва услышав его, всегда с энтузиазмом отвечали; в этой же толпе возглас Даниэля произвел только всеобщее удивление и беспокойство, минутное молчание, и вслед за ним все головы поднялись кверху.

Едва успели они увидеть молодого человека, как несколько пистолетных и ружейных дул направились на него, но ни один из них не успел еще выстрелить, как всадник, казавшийся начальником, подскочил с саблей наголо.

– Смирно! – крикнул он, сопровождая слова свои ругательствами. – Ведь слышали, что не велено стрелять до нового приказа!

И так как один из подчиненных медлил исполнить его приказ, то саблей своей он так ударил по дулу ружья виновного, что искры посыпались.

Хотя от природы не труслив был Даниэль Ладранж, но в описываемую нами минуту, видя себя целью не одного десятка ружей, невольно вздрогнул. Несмотря на это, тут же оправился, и как только тишина восстановилась под ним, он опять начал, хотя еще взволнованным голосом:

– Ваших людей, гражданин офицер, нельзя назвать ни хорошими патриотами, ни хорошо знающими дисциплину... но чего вы желаете?

– Хорош вопрос, – ответил начальник, – мы хотим войти.

– Очень хорошо, – продолжал, не смутясь, Даниэль, – жители фермы не желают противиться законной власти, если она имеет законное предписание. Есть ли оно у вас?

– Да, конечно! мы его вам покажем, только когда вы отопрете.

– Говоря по правде, я немного сомневаюсь о его существовании у вас... По крайней мере, не можете ли вы мне сказать, кем оно подписано?

– Очень легко, – ответил офицер, – оно подписано гражданином Даниэлем Ладранжем, мировым судьей и комиссаром исполнительной власти.

Общий хохот объяснил Даниэлю, что они не только узнали его, но даже подтрунивают над ним. Несмотря на это он снова хотел говорить и просить пояснения. Но в толпе опять раздался повелительный голос офицера.

– Ну! будет болтать! Если не хотите отворить ворот, то выбьем их бомбой!

– Бомбой! – повторили все.

Около наружной стены фермы лежало пять-шесть бревен, несколько человек из национальной стражи, отдав ружья своим товарищам и выбрав самое толстое из этих бревен, взяли его и, привязав на веревку несколько свернутых платков, соорудили нечто вроде тарана.

Смастерив эту штуку с ловкостью, обличавшей привычку к такому делу, они подошли к строениям и, раскачав изо всех сил, бросили бревно в ворота.

Доски раздались, петли заскрипели, и хотя ворота еще и не пали, однако очевидно было, что они не выдержат второго удара.

Тут Даниэль понял, что ему пора сойти, теперь он был убежден, что люди эти не были ни жандармами, ни национальной стражей; но кто ж это мог быть? Шуаны? Действительно, местность находилась недалеко от Бокажа и Вандеи, чтоб предположить, что одна из шаяк, опустошающих эти провинции, могла пробраться и в Брейль. Разбойники? И в этом тоже не

было ничего невозможного, хотя мошенники, грабившие тогда Боссе, Шартрскую провинцию и Орлеан, никогда еще не заходили в эту часть Перша; но кто бы там ни был, опасность была, тем не менее, громадна для меревильских дам, и Даниэль ломал себе голову, как бы ему спасти их от негодаев, завладевающих фермой.

Но ему не дали, впрочем, долго думать об этом.

Не успел он сойти во двор, как услышал позади себя шаги, и в то же время сзади его схватили сильные руки. Два человека в одежде национальной стражи, пробравшись через сад, бросились на него и, не прошло и минуты, как он был повален, связан и с повязкой во рту, мешавшей ему кричать, что, впрочем, было бы и бесполезно, так как в этой всеобщей суматохе и шуме потонул бы всякий крик. Минуту спустя большие ворота разлетелись, и Даниэлю пришлось в бессильном отчаяньи глядеть, как разбойники, так как это были они, шумно бросились во двор.

Некоторые, проходя мимо Даниэля, грозили ему, а потом под предводительством офицера, сошедшего теперь с лошади, с некоторыми из товарищей всей ватагой направились к дому, где заперлись все жители фермы.

После короткого совещания мошенники решили, что надобно спешить преодолеть и последнее препятствие, а потому двое из людей, опытных в этом деле, схватили из тут же лежащей у амбара сохи лемех; от второго напора дверь полетела, сокрушив всю воздвигнутую из мебели баррикаду; разбойники бросились в дом, оттуда в то же мгновение послышались раздирающие душу вопли.

Тут произошла короткая, но ужасная сцена, которую Даниэль мог только угадывать. Большой свет, виденный им со двора, когда дверь упала, мгновенно погас, слышались только падение и треск мебели, крик, топот, страшные ругательства, заглушавшие стоны женщин.

Пленнику показалось даже, что он узнал голос Марии де Меревиль. Отчаянным усилием он попробовал разорвать связывавшие его веревки, но этим только сильнее затянул их. Сознание своего бессилия вызвало у него, несмотря на завязанный рот, что-то вроде мычания, сильно рассмешившее его сторожей.

Наконец возня в доме прекратилась, и снова послышался голос начальника.

– Ведите сюда и того, – кричал он сторожам Даниэля, – положить всех вместе, да скорей...

Бедного молодого человека подняли связанным и, принеся в низенькую залу фермы, так бесцеремонно бросили на пол, что падение на минуту ошеломило его, и только сознание опасности дорогих существ, пересилив физическую боль, спасло его от обморока, и, забыв о своих собственных страданиях, он незаметно поднял голову, чтоб разглядеть, что происходит около него.

Вследствие ли только что тут происходившей схватки или то была, напротив, предосторожность мошенников, боящихся быть узванными, но все огни, как мы уже сказали, были погашены, так что зала освещалась лишь слабо мерцавшим огоньком в очаге и лунным светом, проходившим сквозь разбитую дверь.

В этой полутьме Даниэлю удалось разглядеть, что все жители Брейля, хозяин с хозяйкой, работники и работницы, связанные, лежали тут же на полу.

Осторожность мошенников доходила до того, что голова каждой жертвы их зверства была обернута в халат, так что сами эти жертвы были неузнаваемы? Без движения, впотьмах несчастные заявляли о своем существовании одними стонами.

Не беспокоясь более о них, разбойники, вооружась железными крючками и щипцами, работали теперь над шкапами госпожи Бернард.

Один из них, заметя, что Ладранж лежал с открытым лицом, схватил кусок полотна и обернул ему голову; но прежде еще, чем он это сделал, молодой человек успел разглядеть лежавшую невдалеке от него стройную и грациозную фигуру, которую он и счел за Марию де Меревиль.

Вскоре опять слышался голос офицера.

– Не стыдно ли вам, – говорил он своим товарищам на каком-то странном наречии, – терять тут время на тряпье бедняка-фермера, когда вас ждет серебро да золото; черт возьми, кто станет подбирать мякину, когда может получить муку.

Но замечание это осталось безо всякого внимания разбойников, продолжавших очищать шкафы госпожи Бернард, что доказывало, как мало уважался ими этот начальник. Через минуту он опять начал, но уже на чистом французском:

– Ну вот, теперь, кажется, все наши барашки присмирели и, вероятно, останутся такими же благоразумными до завтрашнего утра. Если это будет так, то никакого зла мы им не сделаем, но если кто зашевелится, то – берегись! Эй, кто там! Не видал ли кто тут, не было ли нищих на ферме?

– Да, да, – ответил насмешливый голос из толпы, – на сеновале нашли мы двух каких-то бродяг, которых следовало проучить маленько, да один из них раненый, разносчик, не очень опасный, так как и сам еле на ногах держится, а другой мальчишка работник, у которого только язык-то, кажется, проворнее рук... Мы их обоих опять там и заперли с намордниками, да и руки попривязали.

Говоривший таким манером голос как нельзя более напоминал голос того именно работника, о котором шла речь, кроме того, сказанное должно было иметь особенно веселый смысл для слушающих, потому что все расхохотались.

Появление еще нового лица прекратило эту несвоевременную веселость.

– Кой черт! – говорил на дворе энергичный, сильный голос. – Долго ль мне еще вас ждать? Привести сюда фермера, он нам понадобится!

И в доме тотчас же водворилось глубокое молчание, на этот раз все спешили повиноваться заявившейся власти: большая часть разбойников вышла, другие взяли Бернарда и, развязав ему ноги, стали принуждать его идти, а так как бедняга отказывался, его принялись бить.

– Не драться! – крикнул опять невидимый начальник. – Слышали, какой дан приказ? Кто ослушается, будет наказан.

Бернарда утащили. Офицер остался в зале с двумя другими разбойниками и пленниками.

– Ты, Гро-Норманд, и ты, Сан-Пус, останетесь здесь караулить, – говорил он на своем арго товарищам. – Не мучить пленников! И не напиваться тут в погребе у фермера... Нашто в дурном расположении духа, так вон и хватает палкой вправо и влево, да ведь он и пули не пожалеет, предупреждаю! У вас тут останутся еще два товарища караулить около дома, так вас будет достаточно. Но не обижайте пленников, если будут спокойны, если же, напротив, – продолжал он по-французски и нарочно повышая голос, – взбунтуются, то запереть всех в доме и подложить огня под четыре угла.

– Что ж, Ле Руж, идешь ли? – кричали со двора.

– Иду.

И офицер, отдав еще несколько приказаний, тихо вышел. Минуту спустя кавалерия и пехота двинулись в путь, направляясь, как казалось, к Брейльскому замку.

Нравственные страдания, испытываемые Даниэлем, заставляли его положительно забыть об ужасном своем физическом состоянии, а между тем кровообращение останавливалось в его связанных членах, повязка во рту мешала дышать, а холст, покрывавший ему голову, окончательно душил его и доводил почти до обморока, но, энергично пересиливая собственные недуги, он вслушивался в стоны своих товарищей по несчастью, говоривших о том, что и им не лучше. Но главное, что терзало его, – это стоны рядом с ним, стоны, издаваемые его дорогой Марией, положение которой было невыносимо; но что же было делать.

Два разбойника, оставленные караульными в доме, разговаривали между собой на своем наречии. Сквозь свою двойную повязку Даниэль видел свет, из чего заключил, что они зажгли свечку, а по близости их голосов – что он лежал у самых их ног, следовательно, у них на глазах и

при малейшем подозрительном движении должен навлечь на себя все их зверство; несмотря на это, ему думалось, что он обязан хоть что-нибудь попытаться сделать для облегчения положения своего несчастного товарища. Он лежал на спине, а потому никакое движение ни руками, ни ногами для него не было возможно, оставалась одна голова, и он стал понемногу шевелить ею, чтоб сперва ослабить, а потом и совсем спустить обе свои повязки со лба и рта.

Маневр этот сначала не привел к желаемому результату, только еще больше дал почувствовать их давление, но потом усиленным старанием Даниэль дошел-таки до того, что освободил себе дыхание, а немного погодя мог и видеть явственно через холст, покрывавший его уже в один ряд и только верхнюю часть лица.

Но, достигнув этой цели, он принужден был отдохнуть; силы его истощились, и он был весь в поту; перестав двигаться, он стал рассматривать положение всех лиц, находившихся в это время в низенькой зале фермы.

Два разбойника действительно сидели в нескольких шагах от него, перед ними на столе горела свеча; на одном из них был костюм национальной стражи, на другом жандармский, лица их были вычернены углем, и, разговаривая, они продолжали курить из своих коротких роговых трубочек. Узники оставались все в тех же положениях; одни лежали молча, как будто в беспамятстве, другие продолжали стонать, госпожа де Меревиль, лежавшая около своей дочери, казалось, была в обмороке, а бедную Марию конвульсивно подергивало, как будто она расставалась с жизнью.

Страх за любимое существо возвратил Даниэлю всю его силу. Но действовать ему следовало весьма осторожно; зная, что лежит на глазах у караульных, он понимал, что малейшая неосторожность с его стороны будет жестоко наказана. Итак, он начал свою работу тем, что мерным, незаметным колыханием всего своего тела стал двигаться к Марии. От времени до времени он останавливался, лежал смирно, но, видя спокойствие сторожей, снова продолжал ползти с терпением индейского охотника, старающегося избежать прозорливого взгляда тигра.

Чего ожидал он от этого? Ничего более, как утешения быть поближе к мадемуазель де Меревиль и, может быть, шепнуть ей утешительное словцо. Но каково же было его изумление и радость, когда он почувствовал, что постоянное движение ослабило веревку, связывавшую ему руки, так что после нескольких незаметных движений он ощутил свои руки совершенно свободными.

Этого уже было много, но не все! Начни он действовать своей вновь приобретенной способностью, сторожа его опять связали бы, и на этот раз уже так крепко, что ничего подобного не могло бы повториться, а потому он и не пробовал протягивать руки, а осторожно продолжал ползти.

Наконец, он очутился около особы, которую принял за Марию, и, повернув к ней тихонько свою обернутую холстом голову, прошептал:

– Мари, милая Мари, можете ли вы меня слышать?

Дыхание его соседки сделалось так прерывисто, что можно было принять его за хрип умирающей...

«Она задыхается!» – подумал Даниэль.

И не рассчитывая более, какие могут быть последствия, он живо вытащил из-под себя одну руку и протянул ее к своему товарищу по страданиям. По счастью, он попал прямо на платок и проворно отдернул его. Свободный вздох девушки отблагодарил его за неожиданную помощь.

Сделав это, он торопливо спрятал назад руку, сомневаясь, что его смелое движение ускользнуло от сторожей.

А между тем это было так. Разбойники, увлеченные своим разговором, перестали заботиться об узниках, положение которых с каждым часом становилось все хуже.

На улице царствовало глубокое молчание, так что можно было предположить, что кроме этих двух людей вся шайка оставила Брейльскую ферму.

Одушевленный своим только что удавшимся маневром Даниэль попробовал совершенно избавиться от повязки, покрывавшей ему глаза, и в этом тоже успел, так что теперь мог он подробнее разглядеть своих сторожей.

Носивший жандармское платье был человек лет сорока, с бычьей шеей, с вьющимися волосами, прыщеватое лицо которого из-под его угольной маски обнаруживало с своим обладателе горького пьяницу.

Другой, в мундире национальной стражи, одетый с некоторой претензией на франтовство, казался лет восемнадцати, не более. Косые глаза его, гладкие, прилизанные волосы, что-то циничное в улыбке и манерах выявляло и присутствие в нем пороков другого свойства; наконец, оба были здоровы, крепки и решительны, за поясами у каждого было по пистолету, а на столе около них лежали их сабли наголо.

Даниэль не испугался бы борьбы с этими двумя здоровяками, он даже мечтал, что если бы мог освободить себе и ноги, как освободил руки, то ему ничего бы не стоило, напав на них врасплох, схватить одну из сабель, броситься к наружной двери и, уже с оружием в руках, отделаться от всех, кто захотел бы ему помешать выйти и таким образом бежать, но для всего этого пришлось бы ему оставить тут Марию, начинавшую только что приходить в себя. Даниэль же инстинктивно понимал, что далеко не все еще опасности кончились для пленников.

Разбойник, которого звали Гро-Норманд, положив на стол свою докуренную трубку и угрюмо обводя глазами зал, проговорил на обыкновенном наречии:

– Черт возьми, Сан-Пус! Да неужели ж мы эдак и ночь проведем, не промочив себе горла! Меня жажда мучит!.. Дом-то, судя по всему, в порядке, значит, можно найти что и выпить!

– Смотри берегись, – ответил товарищ, – ведь напиваться-то запрещено!.. Вспомни, что наказывал Ле Руж!

– Говорят тебе, я пить хочу! А если мне будут мешать пить, то я все и ремесло-то брошу, черт их дери! Наплевать мне и на Ле Ружа, и на других; что они, в самом деле, нас за монахинь считают.

– Ну, не стал бы ты так говорить, если б тебя мог сам Мег слышать.

Не слушая более замечаний товарища Гро-Норманд пошел рыться и искать по всем шкафам, так как все замки уже были взломаны, и, действительно, вскоре возвратился с двумя бутылками какой-то золотистой жидкости.

– Должно быть, водка, – заметил он с удовольствием; он приставил одну из бутылок ко рту, и по мере того как пил со вкусом и с расстановкой, лицо его озарялось, видимо, испытываемым им наслаждением; решась, наконец, не без усилий, расстаться с бутылкой, он подал ее товарищу и, прищелкнув языком, проговорил:

– Славно проведем ночь! Попробуй-ка... настоящий коньяк.

И Сан-Пус, забыв предосторожность, о которой только что проповедовал, не заставил себя просить и хотя меньше товарища, но все же порядком отпил из бутылки, потом раскурил снова свою трубку, и через несколько минут хмель, видимо, уже начал разбирать его.

– Знаешь, что, Гро-Норманд, – сказал он, – из этих женщин, что тут лежат, есть одна прехорошенькая, которую я бы не прочь поцеловать.

– Ну, теперь и ты берегись! Напакостим тут, а Ле Руж велел пленников-то оставить в покое; уж лучше будем пить! Черт возьми! Ведь отчего ж нельзя немножко освежиться!

И он снова принялся за бутылку.

– Ладно, – ответил Сан-Пус, – если уж можно прохладиться, то почему же нельзя и позабавиться? Так себе, для провождения времени. А тут есть, я тебе говорю, одна и прехорошенькая, и премолоденькая, я это заметил, когда Лябивер вязал ее. Но которая тут она, и не узнаешь.

Он хотел встать, но пьяный приятель снова удержал его.

– Пей! – проговорил он, подавая ему бутылку.

Сан-Пус и на этот раз не отказался, но любопытство его оттого не уменьшилось, и, кончив пить, он все-таки встал, уже не слушая более звавшего его Гро-Норманда, и, спотыкаясь, пошел заглядывать в лицо каждой из лежавших тут женщин.

Первая, ему попавшаяся, была старая фермерша, он стащил с нее старую косынку, которой она была обернута, и бедная женщина, увидав свет, слабо прошептала:

– Муж мой! Дочь!

Сан-Пус, засмеявшись, опустил опять на нее платок и подошел к маркизе. Та лежала красная и с блуждающими глазами. Можно было подумать, что после обморока с нею сделалась горячка; хотя молча, но она так грозно взглянула на разбойника, что Сан-Пус испугался и, хотя все же смеясь, поторопился снова закрыть ее, проговорив:

– Черт знает, что такое! Вот уж должна быть не очень-то любезна, но где же та, которая показала мне такой хорошенькой!

И, заглядывая во все углы залы, он, наконец, увидел Марию, тщетно старавшуюся подвигнуться в тень.

Несчастная девочка поняла уже хорошо, что ее ищут, и, повернув к Даниэлю свою головку, тихо прошептала:

– Прежде чем этот негодяй подойдет ко мне, убей меня, Даниэль... я люблю тебя!

Как ни ужасно было положение Ладранжа, но подобное признание осветило его искрой счастья, восторг длился не долее мгновения. Ему нужно было защищать Марию, хотя бы ценой своей собственной жизни.

Стол, где лежало оружие, правда, был в нескольких шагах от него, но Даниэль со связанными ногами не мог так живо вскочить, чтоб успеть схватить одну из лежавших тут сабель.

Так как руки Даниэля были свободны, то он, ползая тут, мог ощупать, что один из кирпичей в полу не крепко держался в своей клетке; расцарапав себе до крови пальцы, он смог окончательно вынуть кирпич оттуда. Этим-то импровизированным орудием он решался изо всей силы удержать негодяя, если только тот прикоснется к Марии. Сделав все эти приготовления со скоростью, требуемой важностью обстоятельства, и уверенный теперь в самом себе, Даниэль прошептал кузине:

– Будьте покойны и надейтесь на меня!

В это время Сан-Пус подошел к ним. Следя внимательно за каждым его движением, Даниэль конвульсивно сжал кирпич, и рука его была уже наготове подобно стальной пружине, вытянувшись, раскроить лоб негодяю, как дверь тихо отворилась и в комнату вошла Фаншета Бернард или, как ее звали, Греле, со своим ребенком. Оба разбойника вскочили, ухватясь за свои сабли.

– Ты, рожа! Сюда зачем лезешь? – кричал Сан-Пус.

– Ну, ну, – остановил его Гро-Норманд, узнавший, казалось, Греле, – не видишь ты, что ли, что она из наших? У нее должен же быть пароль, если часовые пропустили ее... Может, еще она с какими-нибудь приказаниями от Мега!

– У меня никаких нет к вам приказаний, господа, – отвечала Греле униженно, – я бедная женщина, без пристанища, и так как мне нельзя с ребенком оставаться ночь на улице, то я и вошла сюда в надежде, что вы позволите мне здесь провести остаток ночи.

– Как! – вскочил Гро-Норманд. – Не принадлежа к шайке, ты смеешь...

– Ведь я уже тебе говорил, – перебил его Сан-Пус, снова бросаясь с саблей на нищую.

Тут бедняга произнесла несколько странных слов, и оба разбойника успокоились.

– Наконец-то! – сказал Гро-Норманд. – Что же ты не говоришь?.. Ну ничего, отдохни здесь со своим мальчишкой!

Он сел и снова принялся за бутылку, Сан-Пус же не так скоро успокоился.

– Это шпион, – бормотал он угрюмо, – но все равно, я не спущу глаз с нее.

И с этими словами он вернулся на свое место, усевшись, наконец, возле товарища. Гро-Норманд передал ему бутылку.

Греле казалась очень довольной, что ее впустили. Спустив ребенка на пол и видя, что он покойно принялся играть, она уселась на одну из скамеек и принялась внимательно рассматривать все ее окружающее, но царствовавший в комнате полумрак не позволял разглядеть и отыскать во всех этих покрытых и не движущихся фигурах ту, для которой, собственно, она, может, и пришла.

– Эй, Греле, – сказал Гро-Норманд, язык которого начинал уже заплетаться от частых повторений коньяка, – не принесла ли ты каких вестей оттуда?

– Да, да, все идет хорошо, – отвечала нищая рассеянно, – с Бернардом никакой беды не случилось, его только заставили просить в замке, чтоб отперли дверь, он остался жив и здоров, я это наверное знаю.

Ответ этот скорее, казалось, относился к одной из присутствующих тут личностей, чем к разбойникам, и слабый крик, раздавшийся вслед за тем с другого конца залы, объяснил Фаншете, что ее поняли.

«Матушка там!» – подумала она и, наклонясь к своему мальчику, она что-то прошептала ему.

Услыхав этот ответ один из разбойников расхохотался, другой, наморщив брови, подозрительно посмотрел на нее.

– Черт возьми! Баба, смеешься ты над нами, что ли! – проговорил Гро-Норманд. – Какое нам дело до фермера? Живи он или умирай, нам все равно... я у тебя спрашиваю, над чем наши-то теперь там работают, в барском-то доме?

– Я... я не знаю! – пробормотала Греле, видимо, думая о чем-то другом.

– Смотри, слушай! – сказал Сан-Пус, поднимая палец кверху для возбуждения внимания своего товарища.

И точно, вдалеке слышались продолжительные, раздирающие душу вопли, подобно крику людей, которых режут. Брейльский замок хотя и стоял в четверти мили расстояния от фермы, но принимая во внимание тишину ночи легко можно было допустить, что сильный крик долетал из замка.

– Ну, значит, все идет отлично! – сказал Сан-Пус, радостно потирая руки.

– Будем же пить! – заключил Гро-Норманд, уже ошупью доставший вторую бутылку, тоже наполовину пустую.

При этих ужасных столах первым движением Даниэля было встать, но, тяжело упав снова и сознавая свою слабость, он опомнился настолько, что мог сообразить, как бесполезна была бы для старика Ладранжа его попытка бежать и совершенную невозможность оставить Марию в подобную критическую минуту?

Здесь он мог быть полезен; какую же там мог он оказать помощь своему дяде, один против огромной шайки мошенников, овладевших замком, а потому он уже не предпринимал более ничего.

Вскоре эти отдаленные крики стихли, а потом и совсем смолкли.

Греле, казалось, была совершенно равнодушна ко всему около нее происходившему. Сидя на скамейке и прислонясь головой к какой-то мебели, она вроде бы дремала, ребенок играл около нее на полу и, как будто шая, ползал от одного к другому из лежавших тут тел, которых легко можно было бы принять за мертвых, если бы по временам не слышался вздох или стон то тут, то там или легкая дрожь не пробежала по одному из них. Ходя на четвереньках, ребенок как бы только удовлетворял свою потребность двигаться и свое детское любопытство. Даниэль же подозревал, что мать тихонько делала знаки, но убедиться он в этом не мог, так как она сидела в тени.

Скоро ребенок остановился около госпожи Бернард и тоже лег на пол, и уже лежа продолжал все двигать ее, поворачивая от времени до времени к окружающим свое улыбающееся личико. Вооруженный дрянным сломанным ножом Фаншетин сын перерезал или, лучше сказать, перепилил веревки, связывавшие руки и ноги фермерши.

Работа эта была выполнена так легко, что даже не возбудила ни малейшего подозрения в разбойниках, только одна Греле, задыхаясь от страха, ждала последствий ее.

Наконец ребенок встал и наивно, с удивлением, смотрел то на мать, то на фермершу, но мать тоже, казалось, ничего не понимала, видя бездействие госпожи Бернард, беспокойно взглянула она на ребенка, который, окончательно растерявшись, заплакал. Фантеша подбежала к нему, как будто для того, чтобы утешить его, но, взяв на руки, шепнула:

– Кричи, кричи громче!

Ребенок повиновался. Раздосадованный криком его Гро-Норманд ворчал себе под нос, а Сан-Пус, грозя кулаком бедному маленькому созданию, сулил переломать ему кости, если не перестанет. Воспользовавшись этой минутой, Греле наклонилась к госпоже Бернард.

– Матушка! – поспешно проговорила она. – Все веревки на вас перерезаны, дверь отворена, беги через сад.

– Нет, – ответила фермерша, отворачивая голову, – я остаюсь, потому что ничем не хочу быть обязанной такой негодяйке, как ты!

Но Греле не расслышала этого жестокого ответа. Подойдя снова к ребенку и нарочно утешая его ласковыми словами, она в то же время сильно ущипнула его, чтоб заставить громче плакать.

– Матушка! – опять продолжала она, так же тихо обращаясь к матери. – Ради Бога, спасайтесь скорее!

Но на этот раз крик ребенка не помешал уже ей более расслышать презрительный ответ матери.

– Прочь от меня, подлая лицемерка! Более всех воров и убийц твоих сообщников и приятелей ты внушаешь мне ужас! Пусть они убьют меня, я не могу жить долее с мыслью, что родила такое чудовище, как ты.

При этом страшном обвинении Греле до такой степени обезумела, что забыв о своем положении, повернувшись уже прямо к госпоже Бернард, она громко ответила ей.

– Матушка, прежде чем осуждать меня, узнайте, в чем дело; клянусь вам, я не совершила ни одного преступления, если б вы знали...

– Замолчи, – перебила ее фермерша все тем же презрительным тоном, – твой отец прав, ты проклятая и отверженная.

Мальчик смолк, и оба разбойника слушали этот разговор матери с дочерью. Сперва их озадачила эта смелость, и только спустя несколько минут они опомнились и вскочили, разражаясь проклятиями.

– Я так и думал, – кричал Сан-Пус, – эта плутовка, шпионка, хочет выпустить пленников, и мальчишка перерезал веревки!

– У...убьем их обоих! – бормотал Гро-Норманд. Но, не будучи более в состоянии стоять на ногах, он упал на стул, на котором еле удержался, уцепясь за стол. Сан-Пус, менее пьяный, бросился было на Греле, но в то время, как он проходил мимо Даниэля, тот подставил ему ногу, и разбойник повалился на пол.

Падение ошеломило его на несколько минут, и тем временем Фаншета, схватив на руки ребенка, быстро проговорила, обращаясь к фермерше.

– Сегодня батюшка и вы оттолкнули меня, когда я хотела вернуться к добру; теперь вы более никогда меня не увидите... и да простит вас Бог!

И с этими словами, не помня себя, она скрылась.

Да и пора было! Сан-Пус встал и с пеной злобы у рта, видя, что Фаншета убежала, он, зарядив свой пистолет, бросился за ней; но она была на другом конце двора, возле сада, и счастливый случай, когда он взвел курок и выстрелил, пистолет осекся, а беглянка скрылась.

Предосторожность не позволяла мошеннику, оставя свой пост, бежать и преследовать ее, а потому он и возвратился и во избежание новых неожиданностей принялся чинить разломанную дверь; не совладав с нею один, он стал звать на помощь товарища, но Гро-Норманд был уже не в силах более оказать ему какую бы то ни было помощь, так как, удержав свое равновесие на стуле только на одну минуту, он все же кончил тем, что пьяный замертво скатился под стол.

Видя, что ему не на кого более рассчитывать, кроме самого себя, Сан-Пус загромоздил дверь мебелью и поспешил опять связать бедную фермершу. Кончив это, он счел нужным посмотреть, не развязался ли еще кто из пленников.

Не подозревая, что за минуту до этого Даниэль был причиной его падения, и, приписывая это случаю, он все же единственно по врожденной своей недоверчивости хотел сделать проверку, весьма опасную для Даниэля, когда новое обстоятельство дало совсем другой оборот его мыслям.

Сельская повязка, носимая Марией, свалилась у нее с головы, и длинные локоны ее, пепельного цвета, рассыпались по плечам; стянутый со рта платок открыл и нижнюю часть лица мраморной белизны, а под грубой толстой одеждой обрисовывался ее стройный тонкий стан; таким образом красота ее, как бриллиант, вдруг выглянула, освещенная слабым лучом света, как-то упавшим на нее.

– Вот она! – вскрикнул Сан-Пус. – Ее-то я и искал! Тысячу чертей, да она во сто раз лучше, чем показалась мне сперва!

Мадемуазель Меревиль слышала все и дрожала, но и Даниэль тоже слышал эту фразу, и рука его уже шарилась впотьмах по полу, отыскивая саблю, только что выроненную Гро-Нормандом при падении.

Сан-Пус не решался, какой-то страх овладел им.

– Ба! – сказал он, наконец. – Какая же тут беда, если я поцелую, да к тому ж меня здесь никто и не видит.

И, наклонясь к Марии, он окончательно снял с нее повязку, закрывавшую ей лицо. Но при первом прикосновении его руки молодая девушка вздрогнула от ужаса, пронзительно вскрикнула.

Быстрее молнии вскочил Даниэль. Лезвие сабли блеснуло над Сан-Пусом, кровь которого далеко брызнула, и он упал.

Между тем неловкое положение Даниэля со связанными ногами помешало ему нанести Сан-Пусу рану глубокую, оружие проскользнуло только по голове разбойника, который тотчас же вскочил и, стоя еще на коленях, бросился отнимать саблю, до сих пор находившуюся в руках Даниэля.

Борьба завязалась с одинаковыми силами с обеих сторон. Они схватились, каждый стараясь побороть противника; переломив саблю, они перестали гнаться за бесполезными ее остатками, но, вцепившись один в другого, с нечеловеческим бешенством и не произнося ни звука катались по полу. Мадемуазель де Меревиль лишилась чувств.

VIII. Ле Руж д'Оно

Сцены еще ужаснее этой происходили в Брейльском замке. Но прежде чем их рассказывать, нам следует сперва вернуться к той минуте, когда шайка соединилась на ферме Бернарда.

Во время грабежа фермы конные ждали у главных ворот возвращения своих товарищей. Два человека в длинных жандармских плащах вышли к ним со двора, где царствовал страшный беспорядок. Один из пришедших был Франциско разносчик, принятый толпой со страхом и уважением, другой, в котором легко было узнать поденщика Борна де Жуи, с дружеской радостью. У Франциско уже не было более его скромного болезненного вида, его добродушного, мягкого тона, но он все еще казался не совсем оправившимся от своего недавнего падения. Подойдя к толпе, он коротко и сухо проговорил:

– Лошадь мне! Я не могу идти.

Тотчас же один из наряженных жандармов соскочил с лошади, подвел ему ее, сам же отправился во двор и, отрезав построжки у одной из лошадей, только что впряженных в тележку, возвратился к товарищам на толстейшем битюге фермера Бернарда. Что же касается до Франциско, то, не торопясь садиться, он задумался, стоя около своей лошади, но вдруг, повернувшись к Борну де Жуи, хохотавшему тут с товарищами, спросил:

– Хорошо ли ты исполнил мое приказание?

– Да, да, Мег (Мег значит в просторечии господин или начальник). Черт возьми, ведь в деле-то и я замешан; вчера вечером видели нас обоих на ферме, значит, обернись все худо, прежде всего возьмутся за нас.

– Хорошо! Я на тебя, Борн, надеюсь; ведь за что-нибудь да произвели тебя у нас генералом Плутон; но что ж это Руж д'Оно и они все там теряют время в этой хате.

И он громко крикнул им. Голос этот, как мы уже видели, разом прекратил грабеж фермы. Из ближайшей кущи деревьев вышла Греле и подошла к нему.

– Мег, – сказала она тихо, – мне надобно поговорить с вами... можете ли вы меня выслушать?

Разносчик сердито топнул ногой.

– Некогда мне, убирайся к черту!

Но нищую, казалось, не испугал этот ответ.

– Франциско, – снова начала она, делая ударения на каждом слове, – Франциско де Мартан, не узнаешь ты разве Фаншету Бернард? Правда, – продолжала она со вздохом, – она настолько изменилась, что даже и отец с матерью не узнают ее более!

Никакого чувства не отразилось на лице разносчика, он ничего не ответил, но, взяв Греле за руку и отведя немного в сторону, он при свете луны несколько минут вглядывался в ее лицо.

– Право, может быть! – проговорил он, качая головой. – Но Фаншета была хорошенькая, а ты-то уж далеко не хороша!

Сердце нищенки, казалось, разорвалось от горя.

– Франциско, – проговорила она, плача, – вот как ты встречаешь меня после такой долгой разлуки, после того, что, лишив меня всего на свете, сделавшись причиной всех моих несчастий, ведь всему, всему один ты виной! Видясь с тобой потихоньку, когда ходили в город на рынок, я не сумела, простодушная девочка, устоять против тебя, ты был так хорош, так ловок, так хорошо говорил, и я была так молода и так неопытна. Обесчещенная и не имея более возможности скрывать свою вину, я все еще рассчитывала на твое сострадание, но ты так неожиданно тогда скрылся из нашей стороны и никто даже не мог мне сказать, что с тобой случилось.

И таким образом я должна была одна переносить гнев моей семьи. Отец выгнал меня из дому, и я принуждена была просить милостыню. С этого времени не было стыда, которого бы я не перенесла. Жестокая болезнь три года назад окончательно обезобразила меня так, что теперь

никто из знавших меня в более счастливые времена узнать не может; бродяжническая жизнь, которую я веду, столкнула меня с людьми из твоей шайки, и я вынуждена была присоединиться к ним. Между тем, совершаемые ими преступления внушают мне такое отвращение, что я давно отказалась бы от их ненавистной для меня помощи, если бы в их начальнике я не узнала человека, так горячо любимого мной, человека, любовь которого и теперь в состоянии была бы заставить меня забыть обо всех остальных благах мира.

Рыдания прервали ее слова. Франциско холодно слушал.

– Значит, – спросил он, показывая пальцем на ребенка, – этот мальчуган?..

– Это не твой! – поспешно проговорила Греле. – Твой умер, – прибавила она, прижимая к груди своего ребенка, как будто кто собирался отнять его у нее!

Франциско расхохотался.

– Ну, полно, – сказал он, – слезы мне надоедают, да и я спешу... Что ты от меня хочешь?

– Хорошо, Франциско! Ты знаешь, что теперь отец мой с матерью живут на этой ферме?

– Ба! Откуда ж мне знать это? До сегодняшнего дня я никогда не видал их; а, между тем, сегодня, когда при мне назвал их кто-то, то имя это поразило меня.

– Что бы там ни было, Франциско, но я умоляю тебя, прикажи своим людям, чтоб им не сделали зла; я прошу у тебя этой милости во имя всего выстраданного мной из-за тебя!

– Вот хорошо! Отчего бы немного и не пощипать этих дураков родителей, так скверно с тобой поступивших?

– Они и сейчас выгнали меня, когда я их молила о прощении... Но все же, Франциско, умоляю тебя, вели пощадить их.

– Хорошо, для тебя, Фаншета, я сделаю это, я пощажу их, конечно, если только наша собственная безопасность не потребует большей строгости... Положим, приняты меры, чтоб опасность эта не наступила ни сегодня, ни завтра... Будь же покойна, ни старику, ни старухе бояться нечего, но! только не вздумай просить, чтобы им отдали все только что у них взятое, потому что это было бы все равно, что вырвать у голодной собаки кость изо рта, так и у этих молодцов отнять вещь, раз уже ими захваченную.

Обрадованная уверением, что жизнь отца с матерью не подвергнется опасности, Греле прибавила:

– Говорят, фермера ведут с тобой в замок... Так я надеюсь на тебя... Но мать моя остается в доме связанная; уверен ли ты, Франциско, что люди твои не обидят ее?

– Если кто из них посмеет быть с нею строже, чем того требует служба... Но лучше всего иди сама наблюдай, и если что не так, то дай мне знать.

Греле поспешила воспользоваться предложением Франциско, и у нее в голове появился план действий, как мы уже видели, она потом старалась привести его в исполнение. Франциско дал ей пароль, чтоб она без затруднения могла пробраться мимо часовых.

– Видишь ли, – прибавил он, посмеиваясь над своим великодушием, – какой я в отношении тебя добрый малый, не надо только быть слишком взыскательной к старому приятелю. Но... – начал он уже с угрозой, – если же ты нам изменишь?

– Мне изменять тебе, Франциско! – вскрикнула Греле, – неужели ты думаешь, у меня хватит духу на это? С первых слов я тебе сказала, что никогда не свыknусь с преступлениями, делаемыми всякий день тобой и твоими людьми, а между тем я везде за вами слеую, я подвергаюсь участи считаться вашей сообщницей; ах, Франциско, Франциско, неужели ты не понимаешь, как еще до сих пор сильны чувства, привязывающие меня к тебе!

Хотя преступное, но глубокое самоотвержение, высказанное в этих словах, не могло, кажется, не тронуть сердца, но разносчик самодовольно расхохотался.

– То, что ты говоришь, очень льстит самолюбию, моя бедная Фаншета, но все же я тебе не советую ни часто, ни громко вспоминать об этой старой истории... Ты знаешь, как ревнива моя жена Роза Бигнон, а хотя ты более не способна в ком бы то ни было возбуждать ревность,

но все же тебе опасно будет иметь врага в ней. Ну, полно, будь доброй девушкой, служи нам верно, и я тебя не оставлю. Поговори с Жаком Петивер, нашим школьным учителем, чтоб он взял к себе твоего ребенка, он тебе так вышколит твоего мальчугана, что он со временем будет полезен; ну, вот и идут. Прощай! Сегодня ночью увижусь с тобой после экспедиции.

И он торопливо присоединился к шайке, и как только он сел на лошадь, вся ватага тронулась в путь. Греле посмотрела на удалявшихся.

– Мой сын, – прошептала она, – его сын... Потому что ведь это его, хоть я и не хотела ему этого сказать... Вот чего я боялась! Не видать им его, они из него сделают такого же мошенника, как и они сами! Никогда, никогда... Лучше задушу его у себя на груди.

И она задумалась.

– Да, так, – снова проговорила она, – сперва попробую освободить матушку, ведь я могу это сделать, не изменяя Франциско... Может, матушка позволит мне еще раз обнять ее, и тогда я уйду с ребенком так далеко, что они никогда не отыщут нас более.

Читатель уже знает, что мать Фаншеты считала ее сообщницей разбойников, и план ее освободить не удался.

Шайка, между тем, приближалась к Брейльскому замку; впереди шло несколько человек, одетых в платье национальной стражи, с ружьями за плечом, посреди них с руками, связанными за спиной, и головой, закутанной в тряпицу, шел бедный Бернард; позади них ехали конные, постоянно старавшиеся держаться лугом около дороги, чтоб не быть услышанными издалека.

Разносчик Франциско, называемый обыкновенно за красивое лицо Бо Франсуа, и Ле Руж д'Оно, офицер, распорядившийся на ферме, оба верхами с маленьким Борном де Жуи, бежавшим около них, составляли авангард.

Ле Руж д'Оно, виденный нами до сих пор мельком, страшная известность которого впоследствии должна была превзойти зверскую славу Бо Франсуа, был тогда молодым человеком лет около двадцати двух, среднего роста, худощавый, слабый. Прозвищем своим он был обязан или рыжим своим волосам, или веснушкам, испещрявшим его длинное, худое, со впалыми щеками, лицо. Шрам от сабельного удара начиная от угла рта пересекал ему лицо вплоть до правого глаза, всегда красного и всегда слезящегося. Несмотря на свою отвратительную наружность, Ле Руж д'Оно являл постоянную страсть наряжаться. Он любил и тонкое белье, и драгоценные камни; не раз случалось видеть его в бархатном камзоле, с бриллиантовыми пряжками на шляпе и на подвязках, приходящим проситься на ночлег к бедным поселянам Боссе и Орлеана. На этот раз он был в мундире жандармского подполковника и, видимо, гордился своими густыми эполетами и серебряным аксельбантом, положенными должностью, в которую он сам себя возвел.

Обыкновенно общительный и разговорчивый, Руж д'Оно вдруг сделался мрачным и угрюмым, он не только не участвовал в разговоре, завязавшемся между Бо Франсуа и Борном де Жуи, но даже делал вид, что не слышит его, только время от времени он выходил из своей задумчивости, чтоб понукать спотыкавшуюся о камень лошадь.

Борн де Жуи остерегал атамана от Греле, уже покушавшейся, по его словам, изменить шайке.

– Полно! – перебил его Бо Франсуа. – Я знаю эту женщину и уверен в ней более, чем в тебе, генерал Плут, несмотря на всю твою суетню, чтоб выказать свое усердие и преданность. Но лучше ты-то сам помни вот что: если зашалишь у меня, то я сумею заставить тебя раскаться.

Несмотря на то, что эти слова были произнесены тихо, без злобы, они так поразили Борна де Жуи, что он не смел отвечать. Атаман обернулся к мрачному товарищу.

– Ну, а ты что же, Руж д'Оно? – весело проговорил он. – Никак ты онемел, что с тобой сегодня? Сердишься, что ли, на нас?

- Я! Нет, – угрюмо ответил Ле Руж. – Я ничего.
- Нет, что-нибудь да есть, черт возьми!
- Ну, есть... Есть то, что ремесло это мне надоело.
- Какое ремесло?

– Да наше, черт возьми! Вечно шляться, ни днем, ни ночью минуты покоя никогда не иметь, или пешком, или верхом, холод ли, жара ли, всегда спать одним глазом, вечно томиться, или от голода, или от жажды, или от усталости, это невыносимо... И ко всему этому, – прибавил он с отвращением, – постоянно ужасные сцены, насилие, кражи, убийства! Постоянные крики, вопли, мучение, кровь!.. Все и везде кровь... Жизнь эта невыносима, и хочется самому поскорей умереть...

И Руж д'Оно горько плакал, и то не было лицемерие с его стороны, нет, то были действительно жгучие слезы горя и раскаяния.

Этот припадок чувствительности в подобной личности и при подобных обстоятельствах нимало, казалось, не удивил его двух товарищей.

Бо Франсуа только пожал плечами, а Борн де Жуи со смехом заметил:

– О каких пустяках беспокоится сегодня наш Руж д'Оно?

– Ты-то! – перебил его Руж д'Оно в исступлении, похожем на сумасшествие. – Ты подлый трус. У тебя не хватает духу, чтоб самому возиться с ножом или пистолетом, так зато когда несчастные уже зарезаны или умирают, так ты тут приходишь бродить около них да любоваться (Не только что автор не увеличивает по произволу ужасного в описании характеров и поступков действующих тут лиц, но по мере возможности смягчает их колорит.) Знаешь, – продолжал он в бешенстве, – ты и все, тебе подобные, внушают мне такое отвращение, что я презираю себя за то, что живу с вами в товариществе; бывают минуты, когда меня так и подмывает донести на себя и на вас, после чего, конечно, я удавился бы в тюрьме либо отравился.

Борн де Жуи не смел пикнуть, но Бо Франсуа глухо и грозно проговорил:

– Если бы только я тебя считал способным на это! – Но потом, расхохотавшись, прибавил весело. – Ну вот, Ле Руж, и я так же начинаю с ума сходить, как ты; впрочем, ты ведь и всегда такой, когда не пьян или что-нибудь не по тебе. Но я тебя видал в деле, а потому и знаю, насколько правды в твоих громких фразах; при случае ты лучший работник изо всей шайки, да не далее, как в сегодняшнюю ночь докажешь нам это; а вот я тебе лучше скажу причину твоего дурного расположения духа, я отгадал ведь, где тебе сапог ногу жмет.

– Никакой другой причины у меня нет, – ответил Ле Руж, – как только отвращение к образу жизни, который мы ведем.

– А я говорю, что есть! – перебил его уже тоном повелителя Бо Франсуа. – Экспедиция-то эта давно уже была решена между нами, как только узнали, что теперешний хозяин замка старый скряга, у которого мы можем пожить горами серебра и золота, да вот и сегодняшнее донесение Борна де Жуи подтверждает меня в этом мнении. Значит, когда решились напасть на замок, я был занят другим делом, далеко отсюда, и, конечно, без меня тебе, как старшему, пришлось бы распоряжаться, а теперь вдруг я, точно с неба сваясь, сам явился распоряжаться этой экспедицией, которая доставила бы тебе большую честь между товарищами, и вот ты теперь, не смея меня спровадить, так как знаешь, что я не очень-то терпелив, проклинаешь ремесло... Не правда ли, разве это не так?

Руж д'Оно, видимо, был озадачен.

– Мег, – пробормотал он, – уверяю вас, вы ошибаетесь.

– Не лги, я угадал. Но слушай, я не хочу, да и не могу отнимать у тебя начальство в этом деле: я в это время много ходил с коробкой, к тому ж имел глупость свалиться тут с одной сходни и раскроить себе лоб, так изо всего этого следует то, что я ослаб в настоящее время, насилию держусь на этой проклятой лошади, а потому ты и успокойся! Как до сих пор правил кораблем, так правь им и теперь, а ты хорошо справишься! Я же на этот раз ограничусь тем, что

буду присматривать за людьми, чтоб каждый делал свое дело, а приказания отдавай ты один, и по окончании экспедиции вся слава будет тебе одному.

Руж д'Оно молчал. Зная давно лукавство своего начальника, он отыскивал в уме причину подобной уступки, понимая, что у того должен быть тут свой расчет и не подозревая, что расчет этот заключался в том, чтобы внушить к себе доверие.

– Бо Франсуа! – проговорил он, наконец, дрожавшим от радости голосом. – В самом деле вы хотите отказаться на этот вечер?

– Ну да, отказываюсь, недоверчивая ты голова, посмотрим только, как-то ты справишься? Говорят, старый Ладранж скряга первого сорта, деньги у него далеко должны быть припрятаны, понадобится развязать ему язык, вот тебе и будет хороший случай плакаться на ремесло да составлять чувствительные фразы.

– Не напоминайте мне больше об этом, Мег! – ответил в замешательстве Руж д'Оно, – бывают минуты, когда я пьян, ничего не пивши. Вы будете сегодня мною довольны, вот увидите, – продолжал он, одушевляясь. – А-а! Помещик – то скупенек! Из всех, с кем приходится нам иметь дело, эти скупые народ самый неподатливый; но я этого вышколою, черт возьми, уж вышколою, ручаюсь!

– Ага! – сказал Бо Франсуа с торжествующей улыбкой, – наш Ле Руж начинает, наконец, походить на себя!

– Ну, так уж будет же согрет этот гражданин! – прибавил Борн де Жуи, засмеявшись сам этой ужасной игре слов.

В это время доехали они до конца аллеи, конные спешили и привязали лошадей к деревьям. Так как вся шайка с отчаяньем смотрела на массивную решетку и высокие стены, защищавшие вход в замок, Борн де Жуи указал им узенькую тропинку, шедшую вдоль стены и белевшую во мраке.

Скоро они достигли маленькой двери, обыкновенного входа брейльских жителей, но и это их ни к чему не привело, так как прочность этой двери не уступала тюремной или крепостной.

Руж д'Оно подошел к Бернарду, которому товарищи дали отдохнуть, и снял с него повязку.

– Слушай, приятель, – сказал он, – мы могли бы тебя убить, но мы пощадили тебя, значит, мы еще не так злы, как кажемся, но я не дам и двух лиардов за твою шкуру, если ты в точности не исполнишь моего приказания.

Бедный фермер, полуудушенный, оглядывался кругом, всей грудью втягивая в себя свежий ночной воздух.

– Чего вы от меня хотите? – спросил он.

– Очень простой штуки, – ответил Руж д'Оно. – Теперь мы у Брейльского замка и сейчас позвоним; так как, вероятно, не отворят, не узнав предварительно, кто звонит, то ты ответишь за нас. Твой голос знают, и тебя не будут опасаться; ты скажешь, что имеешь сообщить очень важные вести господину и что это необходимо сейчас же; одним словом, ты настаивай, чтобы отперли, и тебя, вероятно, впустят... В случае успеха тебя отведут домой, в противном случае ты умрешь.

И Бернард почувствовал острие кинжала у своей груди, несмотря на это честный старик ни на минуту не смутился.

– А, так вот зачем вы привели меня сюда, – холодно ответил он. – Не стоило беспокоиться... хоть мне и не за что похвалить своего господина, но все-таки и предавать его я никогда не соглашусь, хоть изрежьте меня на куски.

Разбойник промышчал в злости.

– Так ты хочешь со мною потягаться? – сказал он, ругаясь. – Если б ты только меня знал... подумай, ведь мы можем передавить всех тех, кого оставили у тебя на ферме связанными, да и дом поджечь с четырех углов.

Эта угроза, казалось, сильнее первой подействовала на Бернарда, в голосе его уже не слышалось той энергии, когда он ответил.

– Это была бы бесполезная злость с вашей стороны. К чему ж наказывать стольких невинных за вину, сделанную мною одним, но я в ваших руках и соглашусь лучше все перенести, чем исполнить то, чего вы требуете.

– А!.. Так-то?.. – вскричал Руж д'Оно, заноса над ним кинжал.

– Полно, оставь его! – произнес в это время кто-то позади него. – Уж если он такой упрямый, попробуем другое средство. Мне кажется, что мы так больше успеем.

Видимо, с величайшим сожалением Руж д'Оно повиновался, но нарочно, сам взявшись снова завязывать глаза Бернарду, сильно затянул ему повязку и пошел звонить у двери.

Никто не ответил им; только ворчанье сторожевой собаки превратилось в учащенный лай, а потом в один сплошной сердитый вой.

– Славная собака, – пробормотал Руж д'Оно, – эй, вы там, кто-нибудь, не забудьте приколоть ее, как войдем... Да уверен ли ты, Борн де Жуи, что тут нет другой двери, кроме этой?

– Повторяю вам, что я три раза обошел кругом и сад, и дом.

– Ну давайте ж их будить.

И Ле Руж снова изо всей силы стал звонить.

Наконец послышался сердитый голос Петронииллы и другой, отвечавший ей, менее смелый. Оба унимали собаку, которая уже тише стала лаять, и потому можно было уловить некоторые слова из оживленного разговора, происходившего по ту сторону двери.

– Я уверен в этом, госпожа Петронилла, – говорил садовник Иероним на своем першском наречии, – некому другому быть это, как лучшим или привидениям, что бродят по ночам в поле. Все добропорядочные христиане давно спят теперь, а уж эти если войдут, будут у нас у всех головы свернуты.

– Не стыдно это тебе в твои лета верить такому вздору, – ответила Петронилла. – Подумайте! боялся один пойти, надобно было мне вставать и идти с ним сюда... Опять это, верно, какие-нибудь бродяги просятся на ночлег, ну, да я их сейчас спроважу.

Стук ружейными прикладами в дверь сразу прекратил их разговор, и голос извне закричал.

– Во имя закона, отворите! Отворите национальным жандармам, имеющим предписание обыскать дом! Отворяйте же, или мы силой откроем!

Иероним и Петронилла были поражены. Недоверчивая старуха подняла к отверстию, сделанному в двери, свой фонарь и таким образом осветила находившихся по ту сторону людей.

– Они и в самом деле в жандармском платье, – проговорила она нерешительно своему товарищу, – но, может, от этого не лучше.

– Нет, нет, не отпирайте, госпожа Петронилла, и пойдемте спать.

И форточка закрылась.

– Если эти люди не сдадутся, мы все потеряли, – проговорил с досадой Бо Франсуа, – поговори еще с ними, Руж д'Оно, не отпускай их.

– Отоприте же! – начал снова Руж д'Оно. – А не то ведь мы убьем вас!

Но эта угроза не только не внушила повиновения Иерониму и Петронилле, но только еще более перепугала их, и они уже шли к дому, как послышался новый задыхающийся голос, как будто говоривший бежал.

– Дурак! Да и ты глупая сорока! – говорил этот голос, – слыхано ли заставлять так долго ждать у дверей гражданина, жандармов, защитников отечества и закона, у меня нет ничего

скрытного от агентов власти. У меня не найдут ничего подозрительного, и мой дом можно видеть во всякое время.

Садовник и старая ключница хотели было что-то возразить ему, но он заставил их молчать.

– Дурак! – пробормотал Руж д'Оно.

– Скажите лучше, трус, – сказал Борн де Жуи.

– Старик, говорят, пройдоха, это ему уж теперь страх только голову кружит.

Между тем Ладранж из остатка предосторожности еще приложился, в свою очередь, к форточке, чтобы разглядеть посетителей. Руж д'Оно, увидав в форточку его серый глаз, говорил самым сладким голосом:

– Вы выдаете себя за хорошего патриота, гражданин, меня очень удивляет, что вы противитесь закону.

– Я не противлюсь, друзья мои, уверяю вас, что не противлюсь, – отвечал Ладранж, приводя дрожащей рукой в действие сложную механику запора. – Вам сказали правду, я хороший патриот, я уважаю власти, ненавижу аристократов. Войдите, добро пожаловать, я очень люблю жандармов, это верные слуги нации и желаю...

Но ему не дали кончить. Едва последний засов соскочил, как дверь с шумом отворилась и хозяина дома отбросило на десять шагов назад.

Вооруженная толпа хлынула во двор; часть из них салила Ладранжа, другая ринулась на Петрониилу, фонарь которой погас.

Но среди беспорядка Руж д'Оно заметил мгновенное исчезновение садовника Иеронима и увидел беднягу карабкавшимся по старым обломкам на верх стены.

– Остановите его! – крикнул он своим людям. – Ведь убежит!

И сам первый выстрелил из пистолета, но Иероним уже, гонимый страхом, бросился со стены в поле, не обращая внимания на опасность сломать себе шею.

– Догнать его! – приказал Руж д'Оно.

И два всадника поехали уже было исполнять его приказание, как Бо Франсуа спокойно проговорил:

– Ба! Что он может сделать? Нас много, а самая близкая бригада отсюда за три лье. Предположив даже самое худшее, мы покончим дело гораздо раньше, чем они успеют прийти сюда.

Между тем разбойники, захватив Ладранжа и экономку, вязали им руки назад.

– Граждане! – говорил, слабо отбиваясь, старик. – Вы, верно, ошибаетесь! Арестовать меня! Я имею вид от национального правительства; племянник мой комиссар исполнительной власти в этой стороне... Уверяю вас...

– Ну, иди! – прервал его Руж д'Оно. – Твоя болтовня ни к чему не приведет!

И его потащили к дому, так же как и Петрониилу, сердито ворчащую.

– Хорошо же сделали! Всегда хотите на своем поставить. Впрочем, это вас Бог наказывает за то, что хотели обмануть бедную старуху, сберегшую вам деньги.

Ладранж, казалось, еще не собирался спать во время прихода разбойников, потому что в его комнате виднелся огонь, да и он сам был совершенно одет, зато непривлекательное неглиже его экономки, заключавшееся только в рваной шерстяной юбке и старой косынке доказывало, что ее сон потревожили.

Все вошли в дом и остановились в первой комнате, освещенной только лучом света, проникавшим из соседней комнаты. Ладранжа посадили, и мошенники окружили его. Хотя, исключая Иеронима, все жители замка были в их руках, но дом казался таким большим, что мошенники боялись потерять слишком много времени на общаривание его.

Пока они тут рассуждали шепотом на своем арго, хозяин дома, все еще пребывавший в заблуждении от их костюмов, ломал себе голову, придумывая причину своего ареста, как вдруг какая-то мысль, видимо, поразила его.

– Господа жандармы! – начал он. – Я, наконец, понимаю, в чем дело... Вероятно, меня обвиняют в укрывательстве аристократок, называющихся моими родственницами, но от которых я отказываюсь; вас обманули: я их прогнал, когда они приехали ко мне, они теперь живут у Бернарда, фермера, принявшего их вопреки моему приказанию. Вы их легко узнаете, из них одна старая, другая молодая, обе переодеты в платья поселянок...

– Ну, молчи! – грубо перебил его Руж д'Оно, – где твои ключи?

– Мои ключи! – повторил, пугаясь, Ладранж, прозревший, наконец. – Что вы хотите с ними делать? Так, значит, вы воры?

Общий громкий хохот был ответом на этот наивный вопрос, и, чтоб уж окончательно разрушить иллюзию старика, несколько грубых рук в то же время полезли в его карманы и, вытащили из одного из них связку ключей, прозвучавших зловещим звоном в ушах старика.

Тут уж им овладела злость. С бешеными криками начал он рваться, но, не в силах сделать что-нибудь, он упал со стула и катался по полу.

– Слушай, гражданин Ладранж, – обратился к нему повелительно Руж д'Оно, – мы знаем тебя прекрасно, а потому ты уж и не думай нас надуть: ты страшно богат, дом этот полон серебром и золотом; занимаясь ростовщичеством и скупая серебро у монахов и эмигрантов, ты приобрел себе сокровища, дело это известное! Ты и не ври, а лучше сейчас же подай нам сорок... пятьдесят... нет, шестьдесят тысяч франков или, предупреждаю, тебе плохо придется! Да и поторопись, старик! Похвастаться терпеливостью мы не можем. Итак, шестьдесят тысяч франков, или жизнь?

Старый скряга едва мог проговорить задыхающимся голосом:

– Шестьдесят тысяч франков! У меня их нет, я как есть бедняк, вам все нагнали про меня; все, что вы найдете у меня, это несколько ассигнаций.

– Вот увидим! – сказал Руж д'Оно.

Остальные все, под надзором Бо Франсуа, занимались уже обшариванием всех комнат. Шкафы, к которым не могли подобрать ключ, были взломаны, и все находящееся в них выброшено на пол, ящики и комоды были опустошены, тюфяки и соломенники вытрясены, стены истыканы. Несмотря на все это, кроме старых вещей и семейных бумаг нашли только засаленный кожаный портфель, содержащий семьсот или восемьсот франков ассигнациями, действительная стоимость которых была в это время гораздо ниже номинальной.

Услыхав это, Ладранж самодовольно вскрикнул:

– Ведь я же вам говорил, что я беден, и если вы отнимете у меня и эти ассигнации, мне придется умирать с голоду.

– Это ни к чему не поведет, приятель! – мрачно проговорил Руж д'Оно. – Что я знаю, то знаю! У тебя есть секретное местечко, куда ты прячешь свои богатства, мы, конечно, могли бы и сами отыскать его, но дом велик, а нам некогда...

– Еще раз спрашиваю тебя, хочешь ли сам выдать нам требуемые шестьдесят тысяч франков?

– Господи! да где же мне взять их?

– А, так ты упрямисься, ты хочешь потягаться со мной!.. Сейчас узнаешь меня, голубчик!.. Эй, вы там! принесите сюда соломы!

В то время как два разбойника пошли исполнять это приказание, Борн де Жуи бормотал.

– Ну, в добрый час!.. Наш Руж д'Оно зарядился... Значит, сейчас потешимся!

Вскоре люди возвратились со связками соломы. Руж д'Оно с лихорадочной поспешностью сбросил с себя шляпу, плащ и даже мундир, обшитый галуном, так что на нем осталась одна батистовая рубашка с кружевными манжетами и таким же жабо, на которое падал длинный хвост рыжих волос; шрам, перерезавший ему всю физиономию, побагровел, и худощавое лицо его побледнело, из-под веснушек, почти сплошь покрывавших его, обыкновенно слезя-

щиеся глаза его теперь были сухи, блестящи и метали искры. Один из товарищей, наклонясь, шепнул ему:

– Берегись, смотри, Ле Руж, ты уж больно открываешься! Они могут узнать тебя впоследствии.

– Приму меры против этого! – дико проговорил разбойник.

Старик Ладранж смотрел на эти приготовления с удивлением и страхом.

– Но Бога ради, – наконец спросил он, дрожа, – что вы хотите со мной делать?

– Сейчас узнаем, – ответил Руж д'Оно, – куда ты прячешь свои деньги.

– У меня нет денег.

Какой-то звук, похожий на рев тигра, был ответом на этот новый отказ.

В ту же минуту вспыхнуло пламя.

Посреди комнаты зажгли одну из принесенных связок соломы, Руж д'Оно бросился и сдернул с Ладранжа его башмаки, крикнув толпе:

– Эй, вы там, держите его!

И он схватил ноги несчастного старика. Читатель, конечно, не забыл, что эта шайка разбойников под предводительством Бо Франсуа и Ружа д'Оно называлась согревателями.

Ужасный вопль издал Ладранж в последующую затем минуту, взвился в страшных конвульсиях, но несколько сильных рук придержало его.

В вопле его выразилось столько страдания, что все разбойники, исключая Борна де Жуи и Бо Франсуа, вздрогнули; даже Руж д'Оно нервно задрожал и приостановил пытку.

– Что ж, – спросил он, – довольно ли с тебя? Будешь ли теперь говорить?

Но Ладранж не решался; черты лица его были искажены страданием, глаза налились кровью, но несмотря на все, настоящее относительное спокойствие придало ему храбрости.

– Никогда, ни за что! – пробормотал он. – Я беден, у меня нет денег, убейте меня скорее!

Этот новый отказ вывел из себя. Ружа д'Оно.

Возобновленное пламя, свистя, взвилось к потолку.

В это-то время у Ладранжа вырывались те ужасные стоны, которые слышны были на Брейльской ферме, но он ничего не говорил. В этом слабом, истощенном теле происходила невероятная борьба скупости со страданием. Чтобы избавиться от последних, старик, конечно, охотно согласился бы на истребление всего рода человеческого – лишь бы не отдать свое золото.

Руж д'Оно, задыхаясь, с пеной у рта неистовствовал над несчастным. Быть может, нервная натура разбойника заставляла его в некоторой степени разделять страдания, приносимые им жертве, но даже и эта способность его собственной природы, казалось, усиливала его зверство. Ногти его впивались в мясо страдальца, он как кровожадный зверь, разрывающий свою трепещущую жертву, на этот раз превосходил самого себя, предпринимая все новые и новые попытки. Находившиеся в комнате разбойники отворачивались, даже им было не по себе от этого зрелища; один Бо Франсуа, завернувшись в свой плащ, казался совершенно спокойным, Борн де Жуи, все потирал себе руки, хихикал, приговаривая:

– Вот наш Ле Руж-то зарядился! Право, любо посмотреть.

Как мы уже сказали, Руж д'Оно был тигр, Борн де Жуи – шакал.

Наконец согреватель, измученный, вне себя от этой непобедимой настойчивости занес кинжал над стариком Ладранжем, чтоб покончить с ним, как вдруг Бо Франсуа остановил его.

– Нет, пока еще нельзя!

И Ле Руж в изнеможении полумертвый упал на стул. Пусть читатель по положению палача судит о положении жертвы.

Бо Франсуа подошел к своему лейтенанту и почти с улыбкой тихо прошептал:

– Я тебя предупреждал, что работа будет трудна... Никто так не вынослив, как скряга. Но уж если не можешь с ним справиться, не посчастливее ли будет со старухой? Я ручаюсь, что она знает, где спрятаны деньги.

– Вы правы! – ответил Ле Руж, вставая.

Вся бодрость его мгновенно возвратилась, и он бросился на Петрониλλу.

– Теперь твоя очередь! – вскричал он дико. – Ты ведь тридцать с лишним лет в доме, знаешь тут всю подноготную, и ежели ты мне сию минуту не скажешь, где спрятаны экую у твоего барина, то и тебя так же я сейчас подогрею.

Экономка задрожала, а между тем, сохраняя свой брюзгливый и сухой тон, ответила:

– Я ничего не знаю; если б я знала, почему бы мне вам и не сказать? Что мне барские деньги? Вот он обещал мне сделать духовную, да и обманул, не все ли мне равно теперь, если только у него есть какой клад, кому этот клад достанется, вам ли или наследникам; конечно, мне все равно; но такой человек, как он, разве кому-нибудь в мире доверится, может иметь поверенных?

Как ни замучен был валявшийся тут на полу Ладранж, однако понял все сказанное и, обернув к Петрониλλе свое помертвевшее лицо, с трудом проговорил:

– Ты дурно судишь обо мне, милая моя, я всегда любил и доверялся тебе, и теперь тоже обещаю тебе половину, нет, три четверти моего состояния, все, если хочешь, да, я все тебе отдам!

– Да, теперь-то вы вот что говорите, а потом, когда от вас отстанут... впрочем, ведь вы сами знаете, что никогда ничего мне не говорили.

– Добрая девушка! Добрая девушка! – прошептал Ладранж.

Руж д'Оно не знал, на что решиться, Бо Франсуа только пожал плечами и проговорил:

– Дурак! Старик-то боится... значит, экономка знает все... тебя дурачат!

Вместо ответа Руж д'Оно схватил на руки Петрониλλу и снес ее к огню... Старуха завывала от боли, страшные конвульсии, подобно электричеству, подбрасывали кверху ее тело; не более нескольких секунд выдержала она страшную пытку, наконец физическая боль взяла верх над силой воли.

– Оставьте меня, оставьте меня, – шептала она, – я скажу все.

– Ну, наконец-то! – сказал Ле Руж.

Положив ее на пол, он нагнулся к ней, чтоб лучше услышать; но от слабости или от вновь проявившейся нерешимости экономка медлила говорить, Ладранж, казавшийся уже совсем без чувств, открыл глаза.

– Храбрись, милая, – шептал он, – следуй моему примеру, не уступай... самое сильное прошло! Я отдам тебе ферму, замок, земли, все... все!..

– Замолчишь ты, старый плут? – сказал Руж д'Оно, толкнув его ногой. – А ты, баба, если еще долго будешь валандаться...

– Ну, так и быть, если уж нужно! Но вы не будете более мучить ни его, ни меня?

– Да, да, конечно!

– Там, в бариновой комнате, – продолжала она среди глубокого молчания, – позади большого шкафа вы найдете дверь в маленькую потайную комнату; дверь эта отпирается ключом с медной головкой, который барин носит всегда при себе. В эту-то комнату он и прячет драгоценности.

Признание, конечно, привело в восторг всю шайку, и они бросились удостовериться в подлинности сказанного. Ладранж же между тем катался по полу, несвязно лепеча.

– Лгунья... змея!.. Будь ты проклята!.. Проклята!..

И он впал в беспамятство около Петрониλλы, лежавшей, в свою очередь, без голоса и без сил.

Через несколько минут из кабинета слышались торжествующие крики, доказывавшие, что воры нашли так долго отыскиваемый клад и что содержание комнаты превышало их ожидания.

И действительно: потайная комната, указанная Петрониллой, была наполнена мешками серебра и золота, серебряной посудой и церковной утварью. Ладранж был из тех эгоистов, которые, пользуясь революцией, собирал монеты и драгоценные металлы, чтоб зарывать их у себя, не обращая внимания на общественные нужды и на то, что этим самым увеличивает их. Легко может быть, что в кабинете Ладранжа было в это время более богатства, чем во всем остальном департаменте, а потому разбойники, не выдавшие никогда ничего подобного, выражали свое удовольствие самым шумным образом; от их хохота, ругательств, стука и топота гул шел по всему дому.

В первые минуты некоторые из них бросились с жадностью выбирать себе лучшее; но слышался строгий голос начальника, покрывший все остальные, и дисциплина тотчас же водворилась. Все ценные вещи были принесены в кабинет и разложены по столам, по стоимости их, на равные части, долженствующие потом по жребию достаться каждому из шайки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.